



№10 • 1963

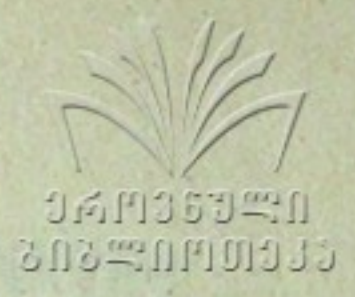
ლიტერატურная  რუსია

10335/
1963/2

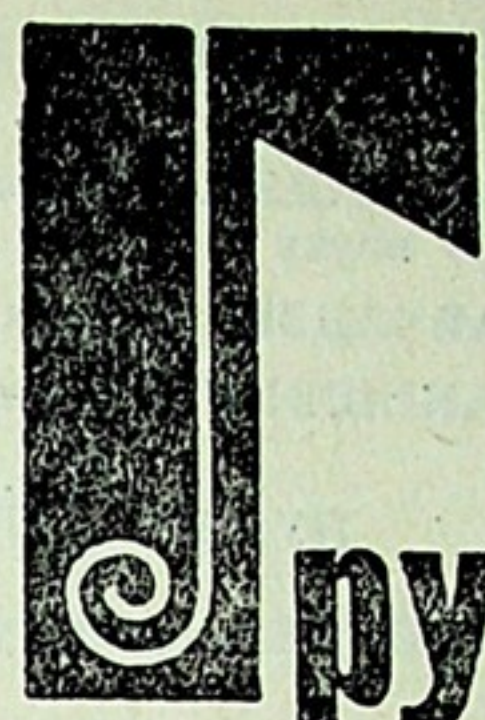
10335/
2

54

10.335 /
1963 / 2



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ



литературная Грузия

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ГРУЗИИ ● ГОД ИЗДАНИЯ СЕДЬМОЙ

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| РЕВАЗ МАРГИАНИ. Родине. Ну, что такое стих... Стихи. Перевод с грузинского Вл. Соколова | 3 |
| ОТИА ИОСЕЛИАНИ. Белая палата. Новелла. Перевод с грузинского Л. Бенашвили | 5 |
| ЮРИЙ НАГИБИН. Под сенью Акрополя. Рассказ | 12 |
| ВИТЕЗСЛАВ НЕЗВАЛ. Ночь в Тбилиси. Уличные ур- ны. Стихи. Перевод с чешского Г. Мазурина | 15 |
| ВЛАДИМИР ТАТИШВИЛИ. Повесть о багдадском плене | 16 |
| ВЛАДИМИР СОКОЛОВ. С друзьями. Бабочки. Хотел бы я долгие годы... Цикады. Стихи | 35 |
| ГУРАМ ДОЧАНАШВИЛИ. Что там, за горой... Рассказ Перевод с грузинского К. Мжавия | 38 |
| ДЖАНСУГ НИКАБАДЗЕ. Дороги. Стихи. Перевод с грузинского Д. Голубкова | 43 |
| ОРДЭ ДГЕБУАДЗЕ. Королева утренней зари. Приклю- ченческая повесть. Перевод с грузинского М. Эса- кия. Окончание | 44 |
| К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ САЯТ-НОВЫ | |
| САЯТ-НОВА. Поверь мне, Любимой. Стихи. Перевод с грузинского Т. Степанова | 57 |
| ИОСИФ ГРИШАШВИЛИ. Саят-Нова | 59 |
| ЛЕВАН МАЧАИДЗЕ. Ашуг. Рассказ | 66 |

10

ОКТАБРЬ

1963

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

| | |
|---|----|
| ПААТА ГУГУШВИЛИ. Эволюция общественно-полити- ческих взглядов Нико Николадзе | 68 |
|---|----|

См. на обороте

08580
72580



საქართველოს
საბჭოთაო წიგნობა

| | |
|--|----|
| ЭДУАРД ЕЛИГУЛАШВИЛИ. Николай Цагеридзе, наш современник | 74 |
| ШАЛВА КВАСХВАДЗЕ. Ценный вклад в искусство- ведческую науку | 78 |
| ГЕОРГИЙ ПАЙЧАДЗЕ. Содержательное исследование | 80 |
| ТИНА МУРМАНИШВИЛИ. Пусть всегда будет радуга | 82 |

ПУБЛИЦИСТИКА

| | |
|---|----|
| ЛЕОНИД РОСТОВЦЕВ. Дом на улице братьев Танеевых | 83 |
|---|----|

ОЧЕРКИ

| | |
|--------------------------------------|----|
| И. ХУЦИШВИЛИ. Первая тропа | 87 |
|--------------------------------------|----|

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

| | |
|--|----|
| ФЕДОР ШАВИШВИЛИ. Из воспоминаний старого большевика | 91 |
| ГЕОРГИЙ ЗАРДАЛИШВИЛИ. «Волга» А. С. Размадзе. | 95 |

Редактор **МИХАИЛ МРЕВЛИШВИЛИ**

Редакционная коллегия:

**И. АБАШИДЗЕ, Б. ГАСС (ответственный секретарь),
Э. ЕЛИГУЛАШВИЛИ (заместитель редактора), М. ЗЛАТКИН,
А. КУЗЬМИЧЕВ, В. МАЧАВАРИАНИ, Р. ТВАРАДЗЕ, Э. ФЕЙГИН,
Н. ЧАВЧАВАДЗЕ, Д. ШЕНГЕЛАЯ.**

Реваз МАРГИАНИ

РОДИНЕ

Гор твоих склоны, травы, камня
Я до конца хочу исходить.
Все разделить твои откровенья,
Новою жизнью их наделить.

Хочешь, я стану тем, чем попросишь,
Дам себя в жертву чистой земле,
Всем, что ты к солнцу гордо возносишь,
Всем, что ущелья держат во мгле.

Стану Ингури влагою пенной
Или потоком желтым, как медь,
Чтоб сумасшедше, самозабвенно
Старую сказку всем прогреметь.

Хочешь, взойду я стройною статью,
Как виноградник новый — до звезд,
Лишь ощутить бы нежность объятья,
Крепость объятья лучшей из лоз.

Хочешь, взволную всходы мгновенно,
Дождиком долгим заморошу.
С неба спустившись, самозабвенно
Свежим дыханьем я задышу.

Скажешь, и тучей стану смиренно,
Жизнь свою с тучей черной свяжу.
И сумасшедше, самозабвенно
Бога ненастий я закружу.

Только нужны ли вздутые реки?
Только нужна ли эта гроза?
Хватит тебе, что плакали предки,
Что твое прошлое — как слеза.

Буду служить тебе неизменно.
Если ж прерваться жизни моей,
То — только гордо, самозабвенно,
Лишь на дороге милой твоей.

Гор твоих склоны, травы, каменья
Я до конца хочу исходить,
Все разделить твои откровенья,
Новою жизнью их наделить.

* * *

Ну, что такое стих, в конце концов,
Что без него нигде мне нет покоя?
Минувшего ли, пройденного зов?
Воспоминанье ли? Что он такое?

Что стих? Распевы утреннего гимна?
Или печаль безмолвия в душе?
Но час настал — и нет ее уже.
Иль жар души, когда любовь взаимна?

Стих — чистая слеза твоей мечты,
Стих то, что брезжит в отдаленном свете,
То, что считал своим лекарством ты,
Когда бывал у горя на примете.

О, что такое стих? Горенье слов?
Иль просто пламя? Иль его сиянье?
Или глаза потухших угольков,
Иль водопада шумное сверканье?

А может только милый голосок
Да светлячок, мигнувший изумрудно?
Иль то, чей сон под сердцем столь глубок,
Что разбудить и боязно и трудно?

Ну что такое стих, в конце концов,
Что без него нигде мне нет покоя?
Он только ли сверканье огневое
И пройденного, канувшего зов?

Перевод с грузинского Вл. Соколова



Отиа ИОСЕЛИАНИ

Белая палата

Н О В Е Л Л А

Перевод с грузинского Л. Бенашвили

Когда произошла эта история, я был студентом, обыкновенным студентом. Мне пришлось покинуть родное село и переехать в город, к тетушке. Дом ее был совсем рядом с институтом, но живи она и дальше, я все равно поселился бы у нее. Просто не у кого было больше.

У тети, как говорится, что ни слово — то мед из уст льется: и дорогой я, и ненаглядный, и умереть она за меня готова: приятно послушать.

В то время мои двоюродные сестры были уже замужем, а старший брат жил в Тбилиси. В доме оставался только младший, мой ровесник, не щедрый на слово парень — этакий добродушный здоровяк.

На сон я никогда не жаловался, но первого сентября попробуй проспать, если ты студент первого курса. В шесть я продрал глаза. Подниматься так рано — тоже не дело. Вот и лежу себе — ворочаюсь с боку на бок, а время еле ползет.

Наконец пробудился мой братец,

кивнул головой — встаем! Я начал одеваться.

— А мыться ты что же, не собираешься? — спросил он, стягивая майку.

— Буду, но не идти же мне голому...

Он спустился во двор, отвернул кран до предела и подставил спину под хлесткую струю. Стоял он так довольно долго, потом крепко растер грудь и поглядел на меня — чего, мол, ждешь.

Я быстро сорвал с себя сорочку. Ну и водичка, доложу я вам! После нашей, деревенской, она мне показалась ледяной. Я боялся, чего доброго, брат еще не так обо мне подумает, и долго плескался под водой.

Тут вышла на балкон тетя и глазам своим не поверила.

— Ты что это, душегуб, делаешь?! — обрушилась она на сына. — Чему его учишь! А ты, умный как будто бы, — принялась она за меня, — с кого пример берешь! Про-



НАЦІАНАЛЬНАЯ
БІБЛІАТЭКА РЭСПУБЛІКІ
БЕЛАРУСЬ

студишься — не перенесу ведь я этого...

С трудом успокоил я тетушку и отправился в институт.

На следующее утро брату уже не пришлось напоминать мне о купании.

После этого я не пропускал ни одного дня. Шли месяцы. За сентябрем последовал октябрь, после октября настал ноябрь. Подул холодный осенний ветер.

Тетя, как увидела меня снова у крапа, так чуть умом не тронулась, а я только смелее обливался холодной, как лед, и тяжелой, словно свинец, водой.

К концу ноября ветер усилился. Как-то тетушка дважды за день послала меня на крышу укрепить сорванную жесьть.

На утро я опять спустился к крапу. Холод пронизывал до костей. Я не собирался долго торчать под водой, но чтобы удивить подошедших с ведрами женщин, разумеется, простоял дольше обычного.

Особенно прилежным студентом меня не назовешь, но не почувствуй я себя совсем плохо, после первой лекции, конечно, не ушел бы.

Признаться во всем тетушке — никак невозможно, поэтому я сохрал, что лекции не состоялись, и, не раздеваясь, повалился на постель.

К вечеру все выяснилось, и тетя заявила:

— Мальчик погибает!

Врач поворочал меня с боку на бок, заставил глубоко вдыхать и выдыхать воздух, постучал по ребрам и выписал рецепт.

Тетя раздобыла у соседей огромную столовую ложку и так наполнила ее лекарством, что едва доносила до моего рта. И все же на второй день я горел в жару, а на третий — в глазах и голове уже был сплошной туман.

Тетушка моя пришла в полное отчаяние, когда врачи заключили:

— Простуда перешла в воспаление легких.

— В больницу я его не пущу! — заупрямилась тетя.

А врачам, конечно, лучше услать меня туда — помру я или выживу — они тогда не отвечают.

В коридоре больницы меня изрядно продуло. Потом на рентгене я простоял с задранной до ушей рубахой и еще принял ванну. Одним словом, когда, наконец, заполнили анкету, чтобы добраться до палаты, мне пришлось опираться на руку сестры.

Говоря по правде, первых дней в больнице я почти не помню — все было, как во сне. Вроде ничего у меня не болело, жар меня не мучил, но я не мог говорить и не слышал, что происходило вокруг.

Помню только белый потолок и стены, и белый халат на сестре. Сестра эта осторожно поднимала сподушки мою голову и вливала в рот сладковатую коричневую микстуру — этим лекарством поили всех больных. Потом она клала мне на язык две беленькие таблетки и подносила воду.

До следующей процедуры я опять-таки погружался в туман. Помню только тетушку, которая, не дожидаясь разрешения врачей, проникала ко мне таинственными ходами и пичкала то холодным мацони, то горячим бульоном, компотами и киселем.

Не могу сказать точно, когда, собственно, я начал поправляться. Мне стало настолько лучше, что я уже прислушивался, о чем беседовали в нашей палате, знал, что по ночам надсадно кашляет больной у окна, а стонет — сердечник, старый сторож с консервного завода.

В палате нас было четверо. Четвертый болел желтухой. Был он совсем молодой. Только что окончил астрономический и работал в том же институте, где учился, — голова! Как только я смог вставать, мы по вечерам выходили в сад и смотрели на звезды.

Утро начиналось с обхода. Один из врачей бывал главнее всех. Он высказывал свое мнение, все обяза-

тельно с ним соглашались и почтительно называли по имени и отчеству. На другой день главным был кто-нибудь другой, он высказывал совсем другое мнение, но и с ним все опять-таки соглашались, — видимо, считая, что не стоит спорить из-за мелочей.

Потом врачи уходили — и все. Днем с огнем не отыщешь! Оставались сестры — наши повелительницы и спасительницы.

Сменялись они раз в сутки. Двух из них я не помню вообще. Не знаю, отчего, не помню — и все. Третью я запомнил, потому что она была беременна. За сутки работы она, наверно, очень уставала и ночью, когда делала укол старику-сторожу, разговаривала раздраженным, резким тоном.

Четвертая... Назовем ее Наной.

С лица Наны не сходила улыбка. Такой улыбки я не видывал ни до, ни после.

Нана только-только окончила техникум, и опыта у нее не было никакого. Я сомневаюсь, чтобы она еще что-нибудь умела, кроме как улыбаться.

Она улыбалась и больному, который нервничал, и посетителю, чье время уже истекло, и... всем, вообще всем. Я думаю, Нана не знала, обладает ли ее улыбка какой-либо силой, она улыбалась просто так. Да и не было в этой девушке ничего примечательного, кроме улыбки... Хотя нет: волосы у нее были густые, и заплетала она их в одну косу.

В то утро, не знаю, в который уже раз после моего появления в больнице, дежурила Нана. Я выпил, как обычно, коричневую микстуру, проглотил таблетки и вдруг услышал:

— Сегодня вы лучше выглядите... — Нана улыбалась.

— Это твоя улыбка мне помогла, — ни с того, ни с сего ляпнул я. В палате засмеялись.

Нана покраснела и вышла смущенная.

— Хорош приятель! — сквозь

смех и кашель прохрипел больной бронхитом, тот, что лежал у окна.

— Ишь ты! — удивился астроном.

А сторож, у которого больное сердце, весь так и просиял.

Я сомкнул глаза и затих.

Очень скоро — не знаю для чего (хотя хлопот у сестер — не обещайся) — в палате опять появилась Нана. Больные мои словно языки проглотили, и я понял: они от меня чего-то ждут. Моментально сообразив, я смело окликнул сестру, уже подходившую к двери.

— Нана!

Она обернулась.

— Вас что-нибудь беспокоит?

— Когда ты здесь, — ничего...

Она прикрыла за собой дверь и ушла.

Мои соседи смеялись, а я улыбался про себя и ломал голову: что бы ей такое сказать, когда она придет в следующий раз...

Теперь появления Наны ждала вся наша палата. Не думаю, чтобы тогдашняя шутка могла меня сейчас развлечь, в других условиях остальные, наверно, тоже не смеялись бы, но в больнице...

Одним словом, достаточно было Нане войти, а мне слегка кашлянуть, как все начинали давиться от смеха.

Весь день я пролежал, уставясь на дверь, начисто забыв о своей болезни. Заслышав чьи-нибудь шаги, я настораживался и с сильно бьющимся сердцем поднимал голову с подушки. Не раз я ошибался — и меня жгло разочарование, но в конце концов я научился отличать шаги Наны от всех остальных.

Другие, разумеется, таким чутьем не обладали и не уставали удивляться: когда я вдруг объявлял, что идет Нана, — дверь, правда, раскрывалась, и появлялась наша юная сестра. Она вспыхивала румянцем от каждого моего слова и только улыбалась в ответ. Ведь улыбка была ее единственным оружием.

На следующее утро Нана сменилась. Сказать по правде, я заску-

чал. Да не один я, а вся наша палата. Входила сестра, приносила микстуру, таблетки, шприц для уколов. Мы механически делали все, что от нас требовалось, и не замечали ее присутствия.

В тот день, то ли температура у меня подскочила, то ли слабость давала о себе знать,—мне стало хуже, и тетушка, такая счастливая накануне, опять пала духом.

Назавтра я снова был какой-то вялый. и видел все, как сквозь туман. Пришел в себя как следует только на третий день, к вечеру.

«Завтра утром дежурит Нана», думал я, и мне казалось, что именно потому в палате установился особенный покой и тишина.

Проснулся я раньше обычного. Свернул длинный больничный халат и подложил под подушку — чтобы читать было удобнее. Потом почему-то взялся за вчерашнее мацони и умял всю банку.

Вскоре мои соседи начали ворочаться, вздыхать и притворно храпеть. Я понял, что никто не спит.

Наконец, один «проснулся» и заговорил:

— Рассвело...

— Да-а... — делая вид, что зевает, протянул другой.

А третий, сторож с консервного завода, человек не хитрый, сразу себя выдал:

— Давно уже рассвело...

Вот-вот должна была появиться Нана, но об этом никто не заговаривал. А я испытывал такой страх, словно выступал перед очень строгой и многочисленной аудиторией, которая ждала от меня чего-то особенного.

— Нана сейчас в коридоре, — неожиданно для себя самого заявил я.

— Ты что, во сне? — засмеялся астроном.

— Не веришь — выгляни, если только она не зашла в дежурку или в другую палату.

У астронома, правда, была желтуха, но чувствовал он себя прекрас-

но, поэтому он в два счета очутился у двери и растворил ее.

— Ты прав, это она!

Сторож удивился.

— Смотри, как угадал!

Теперь каждую минуту в палату могла войти Нана. Как только она подошла к нашим дверям, кто-то меня опередил.

— Она?

— Она, — подтвердил я.

Нана не входила, словно нарочно медлила.

— Нана! — вырвалось у меня почти одновременно со скрипом раскрывшейся двери. Она, может, и придумала, как вести себя со мной, пока стояла за дверью, но от моего возгласа так смутилась, что смогла только улыбнуться.

— Здравствуйте...

Все ответили ей, кроме меня.

— Эх, — вздохнул я нарочно.

— Что с вами? — спросила Нана.

Все промолчали, так как никто не знал моих намерений.

— Что со мной? — повторил я, хмуря брови. — А то, что лечение ваше никуда не годится!

— В чем дело? — Нана разговаривала со мной, как положено разговаривать с больным.

— Как это в чем?! Три дня о тебе забывают, и только на четвертый лечат. Разве так можно выздороветь!

Нана, как я и рассчитывал, смутилась ужасно.

— Я буду жаловаться! — не унимался я. — Самому директору!

— Пойду вызову врача, — заволновалась она.

— Нет уж, пойдя лучше и передай...—Нана бросилась к двери. — Постой, выслушай вначале, что надо передать! — Она остановилась и доверчиво на меня поглядела.

— Я слушаю.

— Улыбнись мне, пожалуйста.

— Что-о?

— Улыбнись.

— Я? — она приложила руку к груди.

— Да, да, ты.

И представьте себе, Нана улыбнулась, правда, очень растерянно, но все же улыбнулась.

— Вот так, — удовлетворенно произнес я, — а теперь пойд и скажи врачу, чтобы каждые десять минут мне назначали твою улыбку, вместо всяких лекарств. Ну, ладно, можно в полчаса по разу, но не реже!

Нана, должно быть, рассердилась.

— Погоди, — я сделал вид, что ужасно возмущен, — дай мне договорить... попроси, пусть назначат хоть на каждый день, не могу же я трое суток сидеть без лекарства.

Нана вышла.

В палате стоял хохот. Мои соседи только и делали, что говорили об этом случае. Больной бронхитом оказался бухгалтером—он принялся подсчитывать, сколько раз должна улыбнуться Нана, если врач назначит мне по улыбке каждые десять минут, и во сколько обойдутся эти улыбки администрации.

Астроном философствовал о новом методе в медицине.

А сторож только поглядывал на меня восхищенно и твердил:

— Ну и ну, вы только на него поглядите!

Нана входила к нам теперь лишь в самых необходимых случаях. Проходя мимо, она старалась не глядеть в мою сторону. Но стоило мне что-нибудь сказать, как она улыбалась, не в силах сдержаться. Об остальных в палате и говорить нечего!

Хотите верьте, хотите нет, в тот день я сумел встать и даже вышел погулять в коридор. Нана глазам своим не поверила, подбежала ко мне, хотела что-то сказать, но не смогла, и удивление на ее лице сменилось обычной улыбкой.

В коридоре, кроме нас, были еще двое больных, но они стояли в стороне, у окна. Нана была совсем рядом, а я ничего ей не говорил.

Когда вернулся в палату, Нана вошла буквально вслед за мной. Она украдкой и, как мне показалось, со

страхом, посмотрела в мою сторону, чувствуя, наверное, что я и на сей раз не промолчу.

— Нана! — приступил я к делу, не откладывая.

Не отвечая, она прошла мимо моей кровати.

— Ну, что, говорил я вам... — обратился я к соседям.

— Говорил, — поспешно подтвердил больной бронхитом.

— Я только напрасно мучаю врачей, сестер и бедную тетушку. Все равно мне не выздороветь!

Нана уже не поддавалась на удочку так легко, но я знал, что все ее внимание по-прежнему приковано ко мне.

— Он действительно это говорил, — вступил в игру астроном, едва удерживая смех.

— А чего мне поправляться. Все равно, выйду отсюда и пушу себе пулю в лоб, — увлеченно продолжал я.

Тут бухгалтер не выдержал и разразился смехом. Засмеялся и астроном. А Нана, стараясь скрыть улыбку, выбежала из палаты.

Сторож, по-моему, поверил в мои слова и произнес свое всегдашнее:

— Нет, вы только поглядите на него!

Нане пришлось вернуться: убегая, она что-то позабыла в спешке. Я воспользовался ее появлением и опять начал, обращаясь теперь к сторожу:

— Так значит, ты не веришь?

— Я? — поразился старик.

— И ты, и вы все! Ну, ладно, увидите еще! Увидите... и очень пожалеете, но будет поздно!

Теперь и сторож понял, что все сказанное было шуткой и относилось лишь к Нане.

К следующему дежурству у меня все уже было заранее продумано.

— Вы ведь знаете, что если я поправляюсь, так только от улыбки Наны, тогда зачем же мне пить лекарства?

— В самом деле... — согласился астроном.

— Вот я и решил от них отказаться.

Нана как раз подходила к моей кровати.

— Мне очень неприятно тебя огорчать, но я не выпью.

Нана достала таблетки.

— Нет, — упорствовал я.

Она поставила на тумбочку стакан с водой и ушла.

Пенициллин тогда был редкостью, и нам давали глотать сульфидин, от которого у меня пошаливало сердце, и я действительно не хотел его принимать. И таблетки были выброшены под кровать.

В тот день я дважды сталкивался с Наной в коридоре. Оба раза она, казалось, ждала, что я скажу ей что-то. Но — ничего не говорил.

Я по-прежнему отказывался принимать лекарства и твердил, что Нана и ее улыбка для меня все равно, что родник бессмертия.

Было уже довольно поздно, когда у старика-сторожа начался сердечный приступ. Ему стало так плохо, что он едва мог дышать. Я вскочил с кровати и, не зная, что делать, заметался по палате. Потом только вспомнил о сестре и побежал в дежурку. В больнице все спали. Я распахнул дверь кабинета и увидел Нану. Она подняла со стола голову и поглядела на меня сонными глазами, глаза постепенно расширились, и на лице заиграла знакомая мне улыбка.

Я волновался, волновался потому, что сторожу становилось все хуже и хуже.

— Почему вы не спите? — спросила Нана.

— Какой тут может быть сон, когда человек умирает!

— Что с вами? — Нана поднялась со стула.

— Не со мной, а со сторожем!

Нана опустилась на стул и сообразила, наконец, что с ней говорят, как с медицинской сестрой.

Я вернулся в палату.

Утром Нана ушла с дежурства, не заходя к нам.

Лекарств я и в самом деле не пил, тем более сульфидин. Почув-

ствовав, что он действует на сердце, вообще перестал к нему прикасаться.

Уборщица обнаружила под моей кроватью таблетки и доставила их врачу.

Я и врачу заявил, что ничего принимать не буду.

— Нечего с ним разговаривать, — сказал главный врач, — пусть сестра заставит его выпить — и дело с концом.

Во-первых, я очень упрям, во-вторых, мне казалось, что без этих лекарств мне и вправду лучше, а когда меня стали уговаривать мои соседи — я и вовсе заартачился.

В тот день дежурила беременная сестра. Она несколько раз повторила раздраженным тоном, чтобы я выпил, потом махнула рукой, бросила таблетки и ушла.

Назавтра сестры получили строгий наказ: пока я не выпью — от меня не отходить.

Нана решительно встала у меня над головой с водой и таблетками.

— Все равно не буду, — повторял я.

— Вам нужно...

— А я не хочу.

— Держите, — она всунула мне в руку одну таблетку. Я повертел ее, надавил пальцем и разломил пополам.

— Треснула, — показал я Нане.

— Ничего, проглотите сразу.

Я встал с постели. Нана была маленького роста и едва доставала мне до подбородка. Из нагрудного кармана ее халатика торчали градусники. Тут меня осенило. Я тихонько разжал пальцы и таблетка незаметно соскользнула в ее карман.

— Дай мне воды, — проговорил я, делая вид, что держу лекарство во рту.

Пока она подавала мне воду, вторая таблетка последовала за первой.

Нане как будто что-то не понравилось... одним словом, она ушла, ни разу не улыбнувшись.

— Вот и выпил! — злорадно произнес бухгалтер.

— А что ему было делать! — вступился за меня астроном.

— Давно бы так, — заключил сторож.

— Вы решили, что я выпил? — усмехнулся я.

— Раньше я не замечал, что ты хвастун, — съязвил бухгалтер.

— Для того и лекарство, чтобы его пить, — оправдывал меня астроном.

— А как же... — начал было сторож, но я прервал его:

— Позовите-ка Нану.

— Она и сама сейчас придет, мне укол надо делать, — переворачиваясь на спину, сказал бухгалтер.

Нана действительно пришла очень скоро. Она сделала укол и собиралась уходить, когда я наконец заговорил.

— Скажите ей, чтобы она меня выслушала.

— Ты говори, а она выслушает.

— Нет уж, говорите лучше сами.

— Выпил он или нет эти таблетки? — спросил бухгалтер, низко опустив голову.

— А в чем дело? Разве он не должен был их пить? — удивилась Нана.

— Хорошо, — не утерпел я, — а что, в таком случае, лежит у тебя в кармане?

— В кармане? — переспросила она, не глядя на меня.

— Градусники, — вмещался астроном.

— И больше ничего?

— Ничего.

— И ты ничего больше туда не кладешь?

— Нет.

— Подумай хорошенько.

Нана решила, что я опять паясничая, и повернулась, чтобы уйти.

— Пойди, Нана. Проверь, у те-

бя в кармане должны быть две таблетки, одна раздавленная.

Нана схватилась за карман и вытащила маленькими пальчиками эти злополучные таблетки.

— Так он не выпил, — протянула она озадаченно.

— Не выпил и пить не буду, — завел я старую песню, — потому что я прекрасно знаю, что мне полезно, а что меня просто убивает.

— Замолчи! — твердо произнесла Нана, впервые нахмурившись. — Замолчи! Ты ничего... ничего не понимаешь... ты даже не знаешь, где можно обо всем этом говорить и... — она закрыла лицо рукавом.

Из палаты она выходила очень медленно.

Соседи мои больше не смеялись. Они молчали и глядели на меня испытующе.

В больнице я оставался недолго.

Вскоре после этого я оставил институт и переехал в Тбилиси, а потом...

Не знаю, что потом. Много воды утекло с той поры, и я ничего не слышал о Нане. Просто не спрашивал о ней, никогда не встречался. А ведь бывает, столкнешься вдруг с человеком, которого лет десять не видел, — и сделаешь вид, что не знал его вовсе, и пройдешь мимо... Бывает, бывает.

Как-то я рассказал эту историю одной приятельнице. Она осуждающе покачала головой и спросила меня:

— Теперь-то ты сознаешь, как был виноват перед этой девочкой?

— Что ты говоришь? В чем? — отпирался я. Отпираться отпирался, но мысль эта по сей день не дает мне покоя — вдруг я и вправду виновен.

И грустно мне, когда вспоминаю об этом.

Юрий НАГИБИН

Под сенью Акрополя

Из цикла „Хождение за четыре моря“

Наша высадка в порту Пирея носила панический характер. Мы уже видели с моря храм Посейдона, а сейчас нам предстояло увидеть Парфенон, Пропилен и Эрехтейон, и это не располагало к спокойствию. Сняв контролеров, мы необузданной толпой обрушились по сходням на пристань, промчались сквозь пустынное, прохладное здание морского вокзала и с боем — между собой — захватили два нарядных автобуса, по счастью нам и предназначенных. Наша возбужденность сообщилась встречавшим нас служащим туристской фирмы, экскурсоводам, шоферам и даже крутившимся возле автобусов полицейским.

Пока мы ждали отправки, в наши автобусы то и дело залезали какие-то люди, похожие, — агенты бюро путешествий. Не обращая на нас внимания, они переговаривались громко, как в лесу, вдруг скопом вываливались наружу и кричали оттуда, относясь уже к нам, что-то непонятное и гостеприимное. Шоферы, избыточно мужественные, отрывистые в речах, полные неясной решимости, напоминали космонавтов перед стартом. Пустая, не находящая приложения активность полицейских заражала воздух грозным электричеством.

Уже когда мы тронулись, через переднюю дверцу вскочили друг за дружкой три девушки и вмиг разлетелись по автобусу. Они родились из всеобщего перевозбуждения, как воробы из воздуха.

Девушки были совсем разные и чем-то схожие. Одну из них, маленькую, кривоногую, украшала прическа «конский хвост». Цирковой, манежной грацией веяло от ярко-рыжего, круто вскинутого хвоста. Вторая девушка, смело и щедро обыграв свою худобу, провальность глаз, синюшность кожи, бескровность и бесплотность бедного тельца, создала таинственный, лунатически-тре-

вожный образ то ли вампирицы, то ли вампировой жертвы. Третья девушка была красива: тонкая, стройная, изящно удлиненная платьем в обтяжку и каблуками-шпильками, прямые, темные волосы деликатно обрамляли смуглое продолговатое лицо. В ней было что-то от женщин Ботичелли: хрупкое и сильное, поникло-сонное и скрыто энергичное.

По автобусу прокатился взволнованный рокоток: кто такие? Я сидел в самом конце, у задней дверцы, все известия и слухи достигали моих ушей не в чистом, отфильтрованном виде, как можно было ожидать, а напротив: обогащенные нелепицами, замутненные до степени бреда. О девушке с конским хвостом мне было сказано: путешественница с острова Мартиника, о лунатической красоте — племянница греческой королевы, третью девушку окружала почтительная путаница: гид-полиглот, художница и мисс Греция. Что ж — в близости Парфенона смешно было бы соглашаться на меньшее...

Автобус проплутал неширокими, пыльно-солнечными улицами Пирея и взял курс на Афины. Ударил по глазам, ослепила, вылезла нестерпимо сверкающая позлащенная каска полицейского в скрещении двух шоссе, напомнив и Ахилла в боевом доспехе, и пожарника на каланче. Побежали назад к Пирею серо-серебристые оливы, высаженные вдоль дороги, а затем раскинулись по всему курящемуся тонким прахом простору рощами, большими и малыми скопищами. Невидимый микрофон рассказывал нам тусклым голосом пожилой женщины-экскурсовода нежный вздор об Афине Палладе, которой греки посвятили свою столицу, возвыся ее дар — оливы над даром Посейдона — морем.

А затем микрофон испортился, пожилой голос пропал, и я услышал, что

кто-то зовет меня по имени. Через проход художник Арамов, досадливо отфыркивая в усы, спрашивал меня, как будет по-английски «акварель». Оказывается, он набросал портрет темноволосой девушки, и она просила подарить ей набросок. Автобусная тряска помешала Арамову добиться полного сходства, он хотел сделать другой рисунок акварелью, когда мы подъедем к Акрополю. Он сделает два рисунка, один — для девушки, другой — для своей будущей выставки в Москве. В восторге от щедрости Арамова девушка сказала, что повесит его рисунок на самом видном месте у себя в студии.

Арамов разволновался. Интересно было бы посетить ее студию, говорил он с лакомым видом, а то, по чести, у него весьма смутное представление о современной художественной жизни Греции. Девушка несомненно талантлива, она сделала несколько тонких замечаний по поводу его набросков. Живое, сегодняшнее, — увлеченно развивал он свою мысль, путая английские слова с русскими, — для него всегда привлекательней самых почтенных руин. Он готов пожертвовать половиной времени, отпущенного на Акрополь, чтобы побывать в студии нашей милой спутницы. Он чувствует, что ему будет там хорошо, — сиял добрыми каштансовыми глазами Арамов, — прямой контакт художников сближает народы. Девушка грациозно смыкала и разводила ладони, беззвучно аплодируя дружеским речам художника.

— И его возьмем, — Арамов кивнул на меня, — он, хоть и не художник, а любит искусство...

Девушка поинтересовалась, чем я занимаюсь, и, услышав ответ, радостно всплеснула руками.

— Мой бог! Я ведь тоже немного писательница!

— В самом деле?

— У меня есть книжка об Акрополе.

— Какая одаренная натура! — вскричал Арамов.

Но все же ему не хотелось, чтобы литератор затмил в ней сегодня художницу, и он снова заговорил о посещении студии. Мы пойдем вчетвером, он непременно возьмет с собой жену. В суматохе посадки жена оказалась в другом автобусе, но, без сомнения, она будет в восторге от этой маленькой экскурсии. Смуглое лицо девушки притуманилось, что-то робкое, нерешительное появилось во взгляде.

— Что вас смущает? — воскликнул Арамов. — Там не убрано?.. Чепуха. Лялька привыкла к художественному беспорядку!..

— Нет, — слабо улыбнулась девушка, — просто я подумала, что сегодня многие сели не в тот автобус.

Арамов недоуменно фыркнул и пошел договариваться с руководителем группы о нашем визите к художнице. Свято место пусто не бывает. Возле девушки тут же оказался писатель Линецкий и преподнес ей свой роман о целине, изданный на английском языке. Он умудрился разобрать в автобусном гаме, что девушка — наша сестра по профессии, и просил об ответном даре. Девушка открыла большую черную, кожаную сумку и заглянула в ее недра, сладко пахнувшие пудрой, духами, каким-то женским теплом. К сожалению, книжки об Акрополе у нее с собой нет. Тут подошел еще один турист, оперный режиссер, с коробочкой разноцветных карамелек и стал угощать нас, серьезно, молча, словно стюардесса — самолетных пассажиров перед взлетом и посадкой. Он постоянно всех угощал: шоколадом, крекером, пастилой, орешками, клюквой в белой сахарной шубе. Можно было подумать, что это необходимо для поддержания наших сил на трудной туристской тропе. Грызая карамель и болтая ногой, — конфеты пробуждают в людях что-то детское, — девушка сообщила режиссеру, что всю жизнь мечтала стать певицей. В подтверждение, она чуть закинула голову и прополоскала горло тонкой фиоритурой.

Автобус остановился на асфальтовой площадке, запруженной машинами всех рангов и мастей, человеческой пестрядью и лотками с липучими сладостями. Путешественница с Мартиники и племянница греческой королевы сразу растворились в сумятице людей и машин, в маленьком водовороте у подножия Акрополя, но наша одаренная подруга осталась нам верна. С механической грацией подставляла она свое тонкое тело под фотообъективы в неизменной, заученной позе: ноги сомкнуты в коленях, правая чуть подогнута и носком упирается в землю, одно плечо опущено, а голова наклонена к другому плечу. Поза, показавшаяся милой и печальной вначале, затем стала слегка раздражать своей нарочитостью и несвободой. Зато Арамов смог запечатлеть ее в этой позе прозрачной акварелью. Как ни быстры его рука и глаз, он не сумел бы этого сделать, если бы не множественность единообразных оцепенений.

А потом была крутизна холма и лестница, на которой хотелось сделать шаг невесомым, и Парфенон, равный ожиданию, как равны, быть может, лишь Сикстинская мадонна и Джоконда, ведь даже Великий Сфинкс при знакомстве оказывается пуделем; Парфенон, являющий высшую гарантию достоинства человека в зыбком мире сомнительных ценностей, и разрушен-

ный также человеком, а не временем, не стихиями.

И был убогий рассказ экскурсовода о том, что требует гексаметра, требует спаренного, счетверенного эпитета, требует слов, весомых и сияющих, подобно серебру, но бедный язык эмигрантки второго поколения, лишенный прилагательных, как осеннее дерево — листьев, скудный глаголами, безжизненно грамматический, не сообщал прелести знакомой с детства и полузабытой мифологической чепухе, овевающей каждую щербину в каменном теле Парфенона.

Видя, что мы изнемогаем от скуки и вежливости, наша юная спутница, ворвавшись в паузу, громким, свежим голосом рассказала историю разрушения Парфенона.

Захватив Афины, турки сложили на Акрополе свой пороховой запас. Они знали: при всей ненависти к ним ни один сын Эллады не подвергнет Парфенон опасности уничтожения. Но этот коварный и точный расчет не оправдал себя во время войны с Венецией. Капитану-венецианцу, штурмовавшему Акрополь, не было дела до светлых и нежных строений, венчавших укрепленную высоту. Он скомандовал своим бомбардирам: «Огонь!», и ядро угодило прямо в целлу Парфенона. Столб огня, дыма, алой пыли вырос над Акрополем...

Русая с проседью, коротко стриженная туристка расплакалась навзрыд. Слезы текли из ее глаз, смывая тушь с нижних век, унося полосками пудру, растворяя в себе губную помаду. Эта женщина плакала и от куда меньших потрясений: ослик, навьюченный корзинами, полными олив, турецкий рыбак на лодочке-полумесяце под старым, дырявым парусом, продавец ядовито-ярких сластей, тщетно предлагавший нам леденцово-паточно-фисташковое лакомство, а то и просто пыльный куст у дороги — на все отзывалась она рыданьем. Жизнь, словно слишком пряное блюдо, непрерывно вызывала у нее слезы. Но юная рассказчица не знала о сверхъестественной отзывчивости нашей туристки, она отнесла ее слезы за счет своего рассказа и, расстроганная, умиленная, насвежо раченная горестной участью Парфенона, резко вскинула голову, чтобы удержать в глазах блестящую влагу, не дать испортить глаза и щеки, как то случилось с нашей туристкой.

Тут откуда-то возникли путешественница с Мартиники и племянница греческой королевы. Странно, они словно не признали в нас недавних автобусных спутников. Они что-то крикнули нашей приятельнице и влад закивали яркими головами, приглашая ее следовать за

ними. Она ответила коротким и резким птичьим возгласом, выражавшим и недовольство, и пренебрежение, и что-то гордое, отстраняющее.

Экскурсовод перетерпела бесцеремонное вторжение посторонней девицы в свою область с покорностью человека, привыкшего подчиняться, но сейчас она вновь пустила в ход говорильную машину:

— Совершенство формы, являемое Парфеноном...

Внезапно девушка привстала на носки, сорвала с головы оперного режиссера фетровую шляпу и побежала вдоль колоннады на другой конец здания. Чуть поддернув узкую юбку, она преклонила колени и положила шляпу на каменный пол. И диво дивное — шляпа исчезла из виду. Кажущийся идеально ровным пол был горбат. Оказывается, божественная стройность, совершенная гармония Парфенона созданы диспропорцией, сознательной несоразмерностью частей, он построен наперекос и почти лишен прямых линий. В этом — великий расчет и тайна его создателей. Будь Парфенон построен по обычным законам архитектуры, он казался бы на этом холме кривым и горбатым. В разгадке красоты Парфенона, так неожиданно и убедительно преподнесенной нам девушкой, было что-то двусмысленное и раздражающе радостное...

Хотелось пить, и мы спустились вниз, к площадке, где шла бойкая торговля содовой, кока-кола и черным кофе в крошечных чашечках. И сразу, будто из-под земли, на нашу девушку кинулась путешественница с Мартиники и племянница греческой королевы. Они обрушили на нее каскад остроугольных возмущенных жестов, сердитых, требовательных слов. Девушка тщетно отбивалась, предупреждая округляла глаза, кивала в нашу сторону, показывала рисунок Арамова, словно диплом на свободу. Обладательница конского хвоста подсунула свое лицо вплотную к ее лицу и, раздавленно смяв алый рот, сказала что-то окончательно и нарочито вульгарное. Смуглые скулы девушки болезненно вспыхнули. Она поглядела на нас странно, выжидающе, жалобно улыбнулась, и улыбка словно заснула у нее на губах, когда она медленно побрела прочь. Раз, другой, она обернулась, будто еще на что-то надеясь, а затем пошла вперед уже без оглядки. У открытой кремовой машины, расплющенной, как цыпленок-табака, трою поджидали, лениво перекачивая жвачку по фарфоровым и золотым зубам, трое розовых лысоватых мужчин в твидовых пиджаках.

Витезслав НЕЗВАЛ

НОЧЬ В ТБИЛИСИ

Та ночь была черна, как ночь,
и светом магна горела;
и страсть не в силах превозмочь,
пять вековых орлов взлетело.

О ночь парная, на меня
смотрела память Пантеона,
и столько силы и огня
передавала мне влюбленно.

Я не забуду мудрость скал —
грузинской женщины Тамары,
чей дух из фрески возникал,
и всех тбилисских улиц чары,

жары безумие и милость,
и ночь сухих Кавказских гор, —
а из ночи вино струилось,
в вине плескался метеор.

УЛИЧНЫЕ УРНЫ

Сердце, сердце мое, никогда никому не завидуй,
никогда, никогда, мое сердце, готовое здесь ко всему!
А иначе утратишь кристальность свою и величье,
а иначе ты станешь бессмысленным мусорным ящиком века,
где скопляется пепел и всякая гниль и отбросы.

Поутру этих урн погребенья мне кажутся аукционом.

Привокзальной затоптанной суетной улицей станешь,
и не будешь таинственной вышкой, откуда весь мир — на ладони,
и откуда видны все сердца и все окна.

Перевод с чешского Г. Мазурна.

Владимир ТАТИШВИЛИ

Повесть о багдадском плене

Три года томили правителя Картли Нерсея¹ в багдадской темнице. По истечении трех лет с него сняли оковы, воздали царские почести и на паланкине доставили во дворцовую баню. Там ждали его слуги халифа и среди них юный Хабиб, лучший в городе мирносец.

Нерсей посмотрел на хрупкого, с девичьим лицом, юношу и нахмурился.

— К чему здесь этот мальчик? Заплатите ему сколько следует и отпустите.

Юноша с достоинством поклонился Нерсею.

— Не гоните меня, государь! Я призван облегчить ваши страдания. Взгляните! Здесь лучшие снадобья Гундишапура и Йемена.

Большой круглый поднос был заставлен кувшинчиками, баночками, пузырьками, сулеями, склянками. Рядом с душистой древесной корой лежали пучки листьев и трав, цветы и зелень. Смешанный запах лесов и весенних полей, дыхание ледяных высот и знойных степей исходило от этих снадобий.

Юноша взял крохотный, с мизи-

нец, кувшинчик, раскупорил его и приблизил к лицу Нерсея. Нерсей откинул голову, глубоко вздохнул.

Слуги подхватили его под руки, подвели к мраморному ложу.

— Я не хотел обидеть тебя, — говорил Нерсей, глядя в лицо склонившегося над ним юноши. — Сколько тебе лет?

— Семнадцать.

— Как звать?

— Хабиб.

— Або, — ласково повторил Нерсей. Ему приятно было назвать юношу по-грузински. Вчера в это время он, эрисмтавар Картли, томился в подземелье, а сегодня вместо тюремной сырости вдыхает драгоценные благовония.

— Воистину ты чародей, — говорил Нерсей, поворачиваясь и чувствуя, как по его спине прокатывается что-то мягкое и тело становится легким, точно сотканное из воздушных волокон.

«Этот юноша, — думал Нерсей, — прислуживает повелителям и владыкам. Но разве поймут они всю силу его мастерства? Бог создал его на утешение тем, кто, как я, перенес тяжесть неволи и побывал в руках палачей. Это он, а не тюремщики, снял с меня цепи, это он вывел меня из подземелья на свежий

¹Эрисмтавар Картли Нерсей правил в Грузии при владычестве арабов, во второй половине VIII века.

воздух, и я почувствовал, как струится кровь в моих жилах!»

— У тебя есть родные?

— Отец, мать, братья, сестры и еще самый близкий мне человек — моя кормилица.

— Вы здешние?

— Мой отец переселился из Дамаска. Здесь нам дали землю.

— Но тебе, отменному мастеру, она ни к чему?

— Все, что приносит нам земля, уходит на налоги.

— Значит и вам, потомкам Измаила, не легко живется в Городе Мира?¹

— Мы не жалуемся. В нашей стране почитают бога. И не нам, единоплеменникам пророка, перечить его законам.

«А он гордый», — подумал Нерсей.

Давно не испытываемое блаженство разлилось по всему телу Нерсея. Хабиб окончил свою работу, а он все лежал с закрытыми глазами, не шевелился и ровно, глубоко дышал. Очнувшись, он встал с помощью слуг и, опираясь на плечо Хабиба, спросил:

— Какой награды ты хочешь?

— Я уже награжден, мой государь. Мне удалось облегчить страдания вашего тела, и мне больше ничего не надо. Но если суждено мне большее счастье — прикажите постоянно прислуживать вам.

— Но я не долго останусь в Багдаде.

— Я всюду последую за вами.

— А ты знаешь, кто я?

— Вы самый мужественный человек на свете, государь! Не я один преклоняюсь перед вашим мужеством.

— Какое это мужество, Або. Мужество проявляется в бою, в борьбе с равными, когда в руках оружие. А здесь я имел дело с тюремщиками и палачами. Хватит и одного презрения.

¹ Город Мира — Мадинат ас-Салам — официальное название Багдада в те времена.

Хабиб опустился на колени и поцеловал руку эрисмтавара.

— Я знаю, — нерешительно начал он, — при больших страданиях, когда кажется, что вот-вот не выдержит дух твой, ни тело твое, и ты полностью подчинишься воле врага, надо думать о чем-то очень большом, гораздо большем, чем причиняемая боль, и тогда боль исчезнет. Государь, умоляю вас, скажите мне, о чем вы думали, когда вас терзали? Я владею тайной приготовления всех снадобий, бальзамов, душистых масел, настоек, курений, но все это — ничто перед тайной, которую знаете вы.

— Здесь нет никакой тайны, — тихо сказал Нерсей. — Когда мне плохо, я думаю: «А не хуже ли еще моему народу? Не могу ли я хоть своими страданиями облегчить его участь?». Все эти годы, находясь под угрозой смерти, я думал только об этом, и собственные страдания казались мне бесконечно малыми, и я готов был перенести во сто крат больше...

И вздохнув, добавил:

— Но ты, ты думай только о своих снадобьях. Великое искусство в твоих руках. И если когда-нибудь тебе придется принять муки, думай только о том, что муки эти помогут тебе облегчить чужие страдания.

Эрисмтавар Нерсей и в самом деле не считал подвигом свою борьбу с халифом Мансуром. Три года, проведенные в неволе и пытках, не сломали его — тело измучено, щеки запали, но большие глаза по-прежнему ясны, и взгляд полон достоинства. Как любил и ненавидел эти глаза халиф Мансур! Они неотступно глядели на него — и для этого вовсе не требовалось присутствия самого Нерсея. Халиф видел их перед собой постоянно. Они глядели на него из-под земли, сквозь стены тюрьмы, из-за решетки, сквозь смертное покрывало, которое не раз по приказанию халифа надевали на эрисмтавара... Халиф Мансур привык к раболепию, страху, униженности, угодничеству. Склоненная голова, распростертое

ниц тело, слезы умиления перед бесподобным владыкой всех мусульман — вот доказательства верности халифату. Эрисмтавар и в неволе не придерживался заведенных при дворе правил. Лишив Нерсея власти, халиф приказал вселить разум в голову упряма, сломить в нем гордыню, научить раболепствовать, сгибать спину, плакать, умолять, кричать, стонать от боли, уподобляться раздавленному червю. Нерсея лишали пищи, свежего воздуха, воды, бросали в ямы, кишасшие пресмыкающимися, не давали спать, изнуряли одиночеством, оскорбляли обществом воров, разбойников, убийц, лишенных совести и стыда людей.

Халиф ждал разительных перемен. Он справлялся у сановников и искушенных в тюремных делах судей, требовал, чтобы главный палач лично докладывал, как идет дело, имеются ли успехи и что еще надо, чтобы упрямый грузин понял, наконец, премудрую сущность халифа. Временами Мансур требовал, чтобы Нерсея приводили во дворец, предварительно обмыв и подкрепив его силы скудной пищей. Халиф встречал своего пленника так, как будто между ними ничего не произошло, заводил разговор о государственных делах, о положении Тбилисского эмирата, справлялся о здоровье, спрашивал, не надо ли чего. Халиф ожидал жалоб, просьб, унижений, раскаяния, слез, но Нерсей ни о чем не просил, ни на кого не жаловался, не спрашивал даже, за что его томят, когда выпустят. Он смотрел в глаза халифу прямым спокойным взглядом, будто не существовало ни смрадных ям, ни пыток, ни палача, ни тюремщиков, ни мук, ни оскорблений, ни даже самого халифа. Это было непостижимо, халиф изумлялся, иногда ему казалось, что Нерсей ослеп, что он только притворяется зрячим. После темных ям, случается, человек теряет не только зрение, но и разум. Нерсей отвечал на вопросы спокойно и рассудительно, говорил о нуждах Грузии, о том, какие должны быть вза-

имоотношения между ним, правителем Грузии Нерсеем, и теперешним эмиром Тбилиси. Если нужно было возражать и не соглашаться, Нерсей бесстрашно возражал халифу и не соглашался с ним.

Бывали беседы долгие, бывали и совсем короткие. Спокойствие Нерсея, его ясные глаза вызывали у владыки Багдада приступы дурноты. Он пытался продолжать государственный разговор, но чувствовал, что это одна из очень мучительных пыток, теперь уже для него самого, для халифа: беседовать как ни в чем не бывало с человеком, которого только сегодня подняли из смрадной ямы и сегодня же опустят в яму еще более смрадную. Но как раз именно это заставляло халифа волноваться, выходить из себя, задыхаться. Нерсей, как думал иногда халиф, лишь только притворялся, что ничего не понимает, осмеливался играть с халифом, делая вид, что для него не страшны ни пытки, ни сама смерть, что для него выше всего не собственная судьба, а судьба народа, которым он призван управлять. Чувствуя, что окончательно теряет над собой власть, халиф Мансур после ласковых слов, а иногда и объятий, какими обычно встречал приведенного из заточения Нерсея, начинал кричать, грозил изрубить его на мелкие куски, задушить, вырвать язык, надеть на голову раскаленный котел, предать мукам не только его самого, но и всех его близких...

И всякий раз, когда уводили Нерсея, владыка страны, простирающейся на многие тысячи фарсагов на север, восток и запад от Багдада, падал на ковер, кричал, бил в ярости верных слуг, требовал позвать немедленно главного судью и главного палача. Он не мог отделаться от чувства, что Нерсей ушел от него, отняв что-то очень большое и дорогое, что он, халиф, не щадя себя, выпрашивал что-то у Нерсея, о чем-то униженно молил, что он, халиф, ползал у ног этого недоступного, сильного человека и был раздавлен им, как жалкий червь.

Палачей, приставленных к Нерсею, халиф Мансур менял, как прискучивших жен в гареме. «Осторожней, осторожней, осторожней! — предупреждал Мансур тюремщиков. — Вы головой ответите мне за Нерсея. Он должен страдать, мучиться, он должен постоянно слышать дыхание смерти за своей спиной, но смерть, как бы близка ни была от него, не должна вырвать этого грузина из ваших рук».

Палачи стали бояться Нерсея. Они трепетали, приступая к своей работе.

— Ты слышал, — спрашивал Мансур Нерсея, усаживая его на мягкие подушки, — я велел отрубить голову этому палачу Джафару. И его помощнику Насибу тоже. Покажи руку. Негодяи! Я предупреждал их. Никто, кроме главного палача, не посмеет больше подходить к тебе, мой Нерсей...

С этого дня главный палач Багдада и всего халифата Айбат ас-Ибрагим стал заискивать перед Нерсеем. Отмучив жертву, он вымаливал себе прощение, валяясь в ногах Нерсея, вызывал лекаря, на собственные средства покупал дорогие лекарства.

Весть о том, что Нерсей, находясь в тюрьме и подвергаясь тяжелым пыткам, является в то же самое время лицом близким к халифу, часто встречается с ним и подолгу ведет с повелителем всех мусульман доверительные беседы, облетела весь Багдад. Рассказывали небылицы о смене правителей в разных областях халифата лишь по одному слову Нерсея. И не только правителей. Схвачены были в разных местах и вскоре казнены несколько крупных военачальников. Были посрамлены и лишены своих мест сановники, причем те, влияние которых на халифа было особенно сильно. Народ радовался, высокие должностные лица испытывали страх. Многие из них искали встреч с Нерсеем.

Они подкупали тюремщиков, проникали в подземелье и вели с Нер-

сеем тайные беседы. Привратники, наживаясь, впускали к Нерсею просителей. Среди просителей был и более мелкий люд — купцы, ремесленники, земледельцы. Напрасно Нерсей уверял их, что ничем не может помочь: народ стал верить, что грузинский правитель может все, что заискивающие перед закованным в цепи другом халифа сановники не посмеют отказать, сделают все, о чем попросит их Нерсей. Нерсей пожалел одного, приговоренного к смерти купца, поговорил с главным судьей, и купца отпустили, как ни в чем не провинившегося. После этого просителей плетями отгоняли от тюремных стен. Перепуганный судья хотел вновь схватить купца, но не решился. «При свидании с халифом, — подумал судья, — рассерженный Нерсей может оговорить меня».

Казалось, судьба эрисмтавара Грузии — это судьба всего халифата: так много времени уделял Нерсею халиф Мансур. Ему должны были докладывать решительно обо всем, что касалось грузинского правителя. Были дни и даже месяцы, когда условия жизни Нерсея настолько улучшались, что Нерсей начинал поправляться. В сопровождении стражи гулял он в саду тюремного начальника, виделся со своей женой и дочерью. Но большею частью ему приходилось проводить дни и ночи в ужасных ямах багдадской тюрьмы. Ямы были разные — неглубокие и просторные, в такие на какое-то время даже проникало солнце, были и такие, в которые спускали на веревке, — глубокие, тесные, в них невозможно было вытянуться во весь рост, свет почти не проникал, воздуха не хватало. Самыми страшными были ямы в несколько этажей, две-три ямы, устроенные одна над другой. Отсюда мало кто выходил живым, но и мертвых не всегда поднимали наверх. Их хоронили те, кто поступал сюда позднее.

В одной из таких ям пришлось побывать и Нерсею. Его опустили на длинной веревке в третью, считая

сверху, яму. Это было обширное и, казалось, совершенно лишенное света подземелье. Некоторое время Нерсей ничего не видел, затем сосчитал находящихся в яме узников — их было тринадцать. Лишь один из них сидел, остальные лежали.

Тот, кто сидел, сказал:

— Наконец-то! Я давно жду тебя.

— Кто ты? — спросил Нерсей.

— А ты что, не разглядел, что ли? Дворецкий Ильбиса, властителя всего подземного царства. Садись, здесь не полагается стоять.

Нерсей сел.

— Ты знаешь меня?

«Дворецкий Ильбиса» рассмеялся:

— А кто не знает тебя в Багдаде? Ты эрисмтавар Грузии Нерсей, любимец халифа. Как живет-поживает благодетель всех мусульман?

— Велел кланяться тебе, — ответил Нерсей, все пристальней вглядываясь в лицо «дворецкого».

Тот смутился:

— Что, и ты знаешь меня?

— Знаю.

Нерсей чуть помедлил:

— Ты Хашим ибн Хаким, сподвижник Абу Муслима.

Хашим опустил голову и тяжело вздохнул.

Нерсей продолжал:

— Я видел тебя в Тбилиси очень давно, вероятно лет двадцать назад. Я был тогда молод, а ты был могущественным человеком, перед тобой склонялся сам тбилисский эмир.

— И запомнил меня?

— У тебя такое лицо. Тебя можно узнать, встретив и через сто лет. Тогда в Тбилиси говорили, что ты из простых людей, в молодости был отбельщиком тканей в Мерве, а стал правой рукой самого Абу Муслима. Давно сидишь?

— Пятнадцатый год. Обо мне забыли. Только ты меня узнал.

Хашим помолчал, повздыхал, протер лицо сухими ладонями, да-

же отвернулся от Нерсея, потом неожиданно вскочил на ноги:

— Мне бы только выйти отсюда, выйти! Мне бы в Мавераннахр! В Мавераннахр! Там ждут меня! Там всегда будут ждать меня! Ошибся Абу Муслим. Я говорил: «Нам не нужны ни Омеяды, ни Аббасиды, никакие арабы нам не нужны!» Что мы делали? Мы собственными руками добывали власть этой кровавой собаке Мансуру. Били Омеядов, а чем Аббасиды лучше? Они живьем жрут наш народ.

Хашим сел и закрыл лицо руками.

— Все пропало. Все, — тихо бормотал он. — Ничего не осталось, кроме вонючей ямы, ничего... Весь народ в яме... Послушай, — Хашим вдруг оживился, сел поближе, обнял Нерсея и, озираясь, зашептал на ухо: — Послушай, говорят ты все можешь. Все. Любому можешь помочь, любому, хотя и сам сидишь третий год в ямах. Тебя боятся палачи, боится сам халиф. Говорят, который раз рубили тебе голову, а она снова на твоих плечах. Зато головы палачей на земле. Послушай, помоги мне! Помоги! Ты не мне, ты всему народу поможешь. Я проберусь в Мавераннахр, прогоню оттуда арабов, соединюсь с хазарами, проберусь через Дарьял и дам тебе столько войска, что ты будешь гнать тбилисского эмира до самого Багдада!..

Девять дней просидел Нерсей в этой самой глубокой яме багдадской тюрьмы, и девять дней Хашим неотступно молил его о помощи. «Помоги, помоги, ты все можешь, все, помоги!» Напрасно Нерсей старался успокоить обезумевшего Хашима, говорил, что сейчас он такой же пленник халифа Мансура, как и Хашим, что это только халифские причуды создали вокруг него, грузинского эрисмтавара, базарные толки, всю эту болтовню о голове, которая, упав с плеч, снова на них вскакивает. «Вскакивает, вскакивает, все это знают, вскакивает, а голова палача валится тот-

час же на землю, — кричал Хашим и снова умолял помочь ему выбраться из ямы. — Мне бы только в Мавераннахр пробраться, к своим, они помнят меня, они ждут, — и не сидеть тогда Мансуру на халифском троне!»

С людьми, потерявшими в подземелье разум, Нерсей встречался не раз. Отчаявшись, они выдумывали всякие небылицы. У них вдруг появлялась надежда, что так или иначе они выйдут из темницы. Одни говорили, что нашли способ проходить через стены и ждут только сигнала сверху, чтобы покинуть тюрьму, другие уверяли, что выпорхнут из ямы подобно птичкам и просили пощупать под лопатками — там будто бы начинают прорезаться будущие крылья. Третьи таинственно сообщали, что научились заговаривать пищу. Если каждый день есть такую заговоренную пищу, тело постепенно станет прозрачным и наконец делается невидимым. Они протягивали свои ладони — не находит ли Нерсей, что они уже просвечивают? Как только все тело станет прозрачным, можно невидимкой выйти за ворота тюрьмы. Будущие невидимки счастливо смеялись над тюремщиками, мимо которых они пройдут.

Были и такие, что беспрестанно чертили на земле корабль и реку Тигр. Нарисуют, пробормочут молитву и сотрут, и снова рисуют, и снова молятся. «В конце концов, — говорили они, — нам удастся прочесть такую молитву, которая позволит сесть на корабль и навсегда покинуть халифат».

Нерсей не возражал никому из них, перестал он возражать и Хашиму. Корабли по ночам не снились Нерсею, тело хоть и становилось с каждым днем все худее, ни в какие чудеса Нерсей не верил. Днем ему и Хашиму приходилось рыть могилы — пленники умирали каждый день, наверх трупы не забирали. Рыть было трудно — лопатой служил черепок, боковина

глиняного кувшина. Хашим всхли- пывал и ругался, молил Нерсея, кому-то грозил, кого-то призывал в свидетели своей правильно прожитой жизни. «Лишь одна ошибка, только одна, но ее поможет исправить Нерсей, кудесник, властитель душ, и больше ни одной ошибки Хашим не совершит». Хашим говорил об этой ошибке и днем и ночью: нельзя верить тиранам, надо поднимать меч против них.

Где-то высоко-высоко над ямой небо было всегда ночным, на нем и ночью и днем, не затухая, светились звезды. Таких звезд живущие на поверхности земли никогда не видят. Звезды утешали одних и приводили в отчаяние других: по звездам узники гадали, иным выпадала близкая свобода, другим смерть. Звезды никогда не обманывали, и узники верили в них. Звезды гасли только тогда, когда в отверстие над ямой просовывались головы тюремщиков. В этой яме тюремщики признавали только Нерсея, другие узники для них не существовали. Они несколько раз в день спрашивали, жив ли грузинский эрисмтавар и не хочет ли что-либо сказать. Но кроме свежей воды Нерсей ничего не просил у тюремщиков.

Однажды, когда звезды погасли, в яму на веревке спустили корзину. Ее прислали из дворцовой кухни. Халиф велел тюремщикам сообщить о здоровье Нерсея и передать ему угощение.

При виде обильной еды Хашиму стало дурно. Очнувшись, он уставился на корзину, руки его дрожали. Он потянулся было к ней, но тотчас в страхе отпрянул:

— Еда отравлена! Отравлена! Не прикасайся к ней, эрисмтавар!

— Халиф не так добр, как ты думаешь, Хашим. Если ему вздумается убить меня, он придумает не столь приятную смерть. Подсаживайся и зови остальных — всем нам хватит.

Два дня все были сыты. От халифского угощения отказались



только те, кому в этой жизни уже ничего не хотелось.

Нерсей знал, что вслед за корзиной последует приглашение прибыть во дворец. Он сказал об этом Хашиму. Тот снова взмолился:

— Помоги! Помоги мне, эрисмтавар! Помни, когда я подниму народ в Мавераннахре, я пришлю тебе столько войска, сколько нет сейчас во всем халифате.

Нерсей обещал помочь. На этот раз он не просто утешал полубезумного Хашима. Ему показалось, что и впрямь сумеет помочь сподвижнику Абу Муслима.

Хашим предупреждал: «Проси освободить Хашима, но не говори, что это тот самый Хашим, который прибыл в Багдад пятнадцать лет назад вместе с злосчастным Абу Муслимом... Проси освободить разбойника и скотокрада Хашима... За время, что сижу я в ямах, тюремщики много раз смещались — Абу Муслима и его сподвижника давно забыли. Теперь для всех я — раскаявшийся грешник Хашим... Такой был. Я сам зарыл его в землю, он умер на моих руках — великий грешник и честнейший на земле человек. Я скрыл его смерть и с тех пор стал выдавать себя за него.

— Но тебя же, сподвижника Абу Муслима, не могли забыть?

— И не забыли. Один сумасшедший, которого теперь держат в цепях, отлично сошел за меня. Он откликается на любое имя, но особенно бывает доволен, когда его называют Хашимом из Мерва. Мы с ним братья по ремеслу, в молодости он так же, как и я, занимался отбелкой тканей...

Через день, как и предполагал Нерсей, звезды над головами узников потухли, в яму опустился конец веревки.

Послышался голос тюремщика:

— Нерсей, поднимись наверх!

Хашим, первым схватив веревку, не хотел выпустить ее из рук. Он прижимал ее к груди, целовал.

— Я рад за тебя, эрисмтавар,—

сказал он Нерсею. — Дай я завяжу тебе глаза, чтобы не ослеп ты на солнце.

Они обнялись. Нерсей сказал:

— Надейся и не тоскуй. У каждого из нас своя родина, свой народ, но враг у нас один. Придет время, и мы вместе будем бить его.

Как всякий тиран, власть которого неограниченна, халиф Мансур находил оправдание каждому своему поступку... Он искренне полагал, что все, совершаемое им, в том числе и самые жестокие дела, есть проявление божьей воли, что он, потомок Магомета, свыше призван осчастливить людей, большинство которых, к сожалению, не понимает, как важна эта основная цель, ради которой следует жертвовать всем, даже собственной жизнью.

К последнему он всячески старался приучать своих подданных. Смерть в халифате была одновременно и высшей наградой и высшим наказанием. Высшей наградой для праведников, ибо они попадали в рай и обретали вечное блаженство, высшим наказанием для грешников, ибо после смерти они переставали существовать, смерть уничтожала их, превращала в ничто.

Мансур считал себя добрейшим из добрых, когда-либо живших на земле. Он очень горевал, когда пришлось убить Абу Муслима. Он постарался, чтобы смерть была сладка, как те блюда, которые в это время подавали дворцовые слуги Абу Муслиму. Его зарезали по едва заметному мановению руки халифа, и кровь его смешалась с розовым шербетом, к которому в это время потянулся Абу Муслим. Халиф горько заплакал и стал горячо молиться. А вскоре, когда повсеместно стали вспыхивать восстания, народ отказывался платить налоги, Мавераннахр готов был отложиться от халифата, все поняли, что Абу Муслима убрали вовремя — бунтари могли провозгласить его своим владыкой.

Усмирив непокорные народы, Мансур назвал свою новую столи-

цу Багдад Мадинат ас-Салам — Городом Мира. Он непрестанно благоустроивал ее, а для этого нужны были каменотесы, знатоки водоотводного дела, люди, умеющие строить мосты и дороги, мечети и крепости, базары и караван-сарай. Новая столица должна была затмить и древний Вавилон и старую, лежащую в развалинах персидскую столицу Ктесифон. Бесконечные караваны тянулись со всех сторон к новому городу. Город рос, а вместе с ним росли налоги и нищета. Земледельцы роптали, крестьяне покидали деревни, и уже ничто, кроме бегства, не могло спасти их от голода. Мансур возмущался: «Как непонятливы и нетерпеливы эти люди, они думают только о себе, они слепы, не видят общего блага, отворачиваются от истинной веры, выдумывают новых пророков». Дело дошло до того, что некий гончар Абу Навас сочинил стишки, в которых он говорит, что желал бы стать собакой, сидящей у ворот Мекки. Тогда бы он кусал каждого проходящего туда богомольца.

Надо было держать в узде не только простой народ — рабов, крестьян, ремесленников, но и военачальников, наместников — эмиров, богатых землевладельцев, ученых, правителей отдельных стран. Отовсюду можно было ожидать неприятностей и даже измены. Недовольство стали высказывать не только иноверцы — евреи, христиане, огнепоклонники, не только новообращенные или скрытые сторонники Омеядов, но и свои поверенные люди, получившие в награду за военные походы целые области в Иране, Грузии, Армении, Мавераннахре и других местах халифата. Но им и этого оказалось мало. В надежде вовсе освободиться от подчинения Багдаду, они присоединялись часто к мятежникам, к людям, которых сами должны были держать в повиновении.

Халиф Мансур вызывал к себе правителей то одной, то другой области. Из Тбилиси был вызван

правитель Грузии Нерсей. Халиф потребовал, чтобы он прибыл в Багдад со своей семьей.

Это было более трех лет тому назад... Нерсей, поднятый сейчас из ямы, вспоминал, как это было. В день приезда Нерсея халиф был расстроен неповиновением собственного своего сына Махди, требовавшего, чтобы часть средств, собранных для благоустройства Багдада, была потрачена на строительство канала в засушливом районе Ктесифона. Как раз в это время халифу сообщили о приезде эрисмтавара Грузии Нерсея.

Нерсей вступил в Багдад, сопровождаемый многочисленной свитой арабских сановников и военачальников, встретивших его у городской черты. За почетной свитой, окружавшей Нерсея, в город вступил празднично украшенный караван. Вереницы вьючных животных — верблюдов, мулов и лошадей — везли подарки повелителю всех мусульман халифу Мансуру. Толпы зевак и согнанных старшинами крестьян выстроились вдоль дороги. Сквозь пыль в самом центре города вырисовывались контуры дворцовых построек и самый дворец халифа, окруженный садами.

Находящийся в свите эрисмтавара священник Иоанн Сабанисдзе подумал: «И сей новоявленный Вавилон багдадский, придет срок, будет разрушен, и в мире воцарится мир!». Об этом не раз говорил он потом, утешая своего государя...

Халиф остался доволен подарками Нерсея. Особенно рад был он ремесленникам, прибывшим в Багдад вместе со своими изделиями — дорогими тканями, парчой, кипами кожи, серебряной посудой, редкими по отделке седлами и оружием. Ремесленники навсегда поселились в Багдаде.

Щедрость Нерсея растрогала халифа. Никогда раньше эрисмтавар не делал подарков людям, знающими ремесло. Те, которых присылал тбилисский эмир, или убегали, или были из рук вон плохими.



Нерсей понравился халифу. Он поселил его вместе с семьей в дворцовых палатах, предназначенных для почетных гостей, виделся с ним ежедневно, звал на совет и пиршества, познакомил с учеными сирийцами и намекнул, что если Нерсей переменит веру — пусть пока тайно, — он отзовет из Тбилиси эмира и всю власть над Грузией передаст Нерсею. Мусульманин из грузин был, по мнению халифа, куда надежнее чистокровного араба, — у такого уж никак не мог бы оказаться в предках сам пророк. Поэтому в душе он мало верил своим единокровным арабам. Слишком часто ему мерещился нож, приставленный к самому горлу, — и нож этот держала рука близкого человека. «Подальше этих близких, — думал халиф, — поменьше потомков пророка, пожирающих друг друга».

Они подолгу беседовали. Нерсей легко доказал халифу, чего стоит содержание эмирских сановников в Грузии.

— Если только наполовину сократить их число, доходы халифата от Грузии возрастут вдвое, — говорил Нерсей. — Не халифат, а халифатских сановников обогащает Грузия. Они истощают ее — вот почему все меньше и меньше получает Багдад от Грузии. Подумай, халиф, и реши сам.

«Все это так, все это так, — думал халиф, — нет ничего хуже всех этих сановников, военачальников, всей этой жадной своры. Но ведь их не уничтожишь, да еще сразу всех вместе. Хоть мало, но они все же несут что-то в казну халифата. Вот разве с помощью Нерсея... Но как довериться человеку, который хотя бы для видимости не хочет принять ислам? И что это за оговорка — «не будет народ верить правителю, который сам переменил веру, не любит народ изменников!»

И халиф Мансур все чаще и чаще заводил разговор с Нерсеем об исламе, но эрисмтавар всячески уклонялся от этих разговоров.

Враги Нерсея, среди которых были и грузины, воспользовались этим. Боясь близости эрисмтавара к халифу, они все больше и больше оговаривали правителя Грузии. Они выставляли Нерсея закоренелым врагом ислама, человеком подлым и коварным. При всей осторожности, которую соблюдал Мансур, ведя переговоры с Нерсеем, те, кому надо было, узнали, наконец, о чем подолгу беседует глава халифата с христианским государем. Знал об этом и сын халифа Махди, он сам при случае ругал тбилисского эмира, с негодованием говорил о сановниках, ведущих развратный образ жизни, предающих интересы халифата. Он одобрял отца. Нерсея надо сделать своим человеком, он заслужил этого. Махди считал даже, что принятие Нерсеем ислама не обязательно.

Выходило, что Нерсей имел влияние и на потомство владыки всех мусульман.

И наговоры усилились.

Нерсея обвиняли во всем, в чем может только быть грешен правитель и человек. Халиф не верил наговорам. Живой Нерсей стоял перед его глазами. Слишком ясен был взор эрисмтавара, мудра и нетороплива речь, спокойно дыхание, размеренны и красивы движения. Весь он так не похож на приближенных халифа, что и сама мысль о коварстве не приставала к нему. Все больше и больше нравилось халифу слушать Нерсея. Он подолгу мог рассказывать о Грузии, о ее земляпах, пастухах, охотниках, ученых и при этом никогда не был многоречив. Горы и долины Грузии, ласковые лучи ее солнца, ее леса и пашни, ледники и реки стояли перед глазами халифа, и ему уже самому хотелось, чтобы это солнце было еще ярче, пахари и жнецы веселее, пастухи и охотники удачливее, ученые прозорливее. «Да, многое могла бы дать эта страна халифату, — думал Мансур, — если бы не жадность и глупость моих сановников, жестокость и безнаказанность моих вое-

начальников. Они губят наше дело. И, что совсем плохо, — ведут себя так не только в Грузии, но везде, куда я посылаю их и доверяю им судьбы народов».

Но чем чаще беседовал халиф с эрисмтаваром, чем больше проводил с ним времени и чем больше доверял ему, с тем большим старанием и коварством действовали враги Нерсея.

И они достигли своего. Нерсей был обвинен в самом страшном преступлении — в неверии в мудрость халифа, главы всех мусульман, потомка и наследника пророка, в прямых сношениях с хулителями Аббасидов.

Врагам так удалось поведать об этом чудовищном злодеянии, что халиф уже ни на минуту не сомневался в самом низком коварстве грузинского правителя и беспрерывно повторял:

— Ну, кто бы мог подумать! Кто бы мог подумать!

Гнев халифа был беспределен. Он и слушать не хотел Махди, заступившегося было за Нерсея.

Когда Нерсея схватили, он не стал оправдываться.

— В халифате, — сказал он, — судьями совершается столько несправедливостей и злодеяний, что всякий, кто защищает себя перед ними, подобен безумцу, пытающемуся носить воду в решете. Обвинив меня, вы хотите найти доказательства в моих оправданиях. Этому не бывать.

Когда халифу передали слова Нерсея, он схватил кадия за бороду и стал рвать ее.

— Он не хочет даже оправдываться? И ты смеешь говорить мне об этом? Уж не надеешься ли ты, что я приду к тебе на помощь, вызову к себе этого негодяя и буду снова слушать все его сказки? Не вошли ли вы все в сговор с этим преступником?!

Кадий распростерся ниц. Он не оправдывался, он молчал, он был согласен с истиной, провозглашен-

ной Нерсеем: «Оправдания, когда ты ни в чем не повинен, на руку обвинителям».

Когда кадий поднялся, халиф вернул ему вырванный клоч бороды и сказал:

— Ступай, и впредь не будь глупцом!

Вечером халиф снова вызвал кадия, накричал на него и велел на следующий же день казнить Нерсея, отрубленную голову высушить на солнце и послать в Тбилиси. Там надлежало выставить ее на главной площади. Пусть знает грузинский народ, как поступают с правителями, не оправдавшими высокое доверие халифа...

Ночью халиф спал плохо. Он проснулся, хотел представить голову Нерсея отрубленной, но не смог. Нерсей стоял перед ним живой, спокойный, полный достоинства и вежливой предупредительности, готовый к откровенной дружеской беседе. Халиф понял, что из всех людей, с которыми приходилось ему беседовать за долгую свою жизнь, Нерсей был единственным, в обращении которого не было и следа лести. Беседуя с Нерсеем, халиф отдыхал душой, набирался сил, и ему вдруг захотелось обнять грузинского эрисмтавара, заглянуть в его глаза, усадить рядом, поближе — и забыть, забыть навсегда то нехорошее, что произошло, захотелось засмеяться, сказать, что все происшедшее — чистое недоразумение, что он, халиф, не верит в наговоры и ни в чем не обвиняет Нерсея, захотелось снова затеять большой разговор о судьбах народов, подчиненных халифату. Он так желал этого, что даже услышал голос Нерсея, тихий, низкий, полный глубины и силы. Нерсей говорил о таланте и трудолюбии народа, о долинах, пастбищах, горах, реках, способных прокормить три таких царства, как халифат, о загубленных, затоптанных богатствах, о неумной жадности сановников, о палаческой жестокости военачальников, о том, что даже дикие звери покидают пределы хали-



ქართული
საქართველოს
საქართველოს

фата, спасаясь от голодной смерти. Никто никогда и нигде не говорил халифу о таких вещах, он как бы заново видел всю страну, людей, населяющих ее, облака, плывущие над ее просторами, реки, прорезающие ее земли...

— Я не ищу твоей доброты, — говорил Нерсей, — я взываю к твоему разуму. Если в руки твоих правителей попадет солнце, они и солнце растерзают, разорвут на части, загонят в подземелья, спрячут, чтобы народ не мог греться в его лучах без их разрешения.

— Если бы твои правители, — говорил Нерсей, — могли бы смастерить кувшины и амфоры таких размеров, чтобы в них вместились бы воды всех рек халифата, они и воду припрятали бы от народа и спокойно смотрели, как народ умирает от жажды. Они уже делают это, халиф, скоро навсегда скроется солнце над твоим государством, исчезнут реки, высохнут озера и моря и даже ветер не захочет гулять на твоих опустошенных землях!

Халиф вскочил, хотел крикнуть: «Нет, это неправда, ты сочиняешь, ты лжешь, ты просто завидуешь моим военачальникам и эмирам, ты хочешь погубить их и рассказываешь небылицы, ты хочешь спасти свою голову от топора, ты сам хочешь увести солнце с моего неба!» — но эрисмтавара не было уже во дворе, да он, скованный по рукам и ногам, и не мог бы обратиться в покои халифа, он прислал сюда лишь свою тень, прозрачную, как все видения, и она растаяла, как все видения, при первых лучах рассвета. О, этот гордец, усомнившийся в мудрости владыки всех мусульман! Вероятно, он и не почувствует удара меча, и глаза его, засыпанные солью, будут спокойны, как всегда. Нет, смерть не решит спора! Нерсей и после смерти станет являться сюда и тревожить ночной покой. Надо обратиться ученых и сановных людей, опросить их и выбрать наиболее

разумное наказание для зазнавшегося хулителя мусульманства.

Халиф хлопнул в ладоши. У входа в спальню показалось нечто круглое, похожее на черепаху, покрытую черным платком. Оно медленно ползло к ложу халифа. Халиф еще раз ударил в ладоши. Нечто приподнялось, показалась человеческая голова. Это был самый доверенный и преданный слуга халифа — Шихаб.

Придворные не любили Шихаба и боялись его. Он был праввернее самого халифа. Шепотом поговаривали, что Шихаб грузин, принял ислам еще в Тбилиси, что тайно он продолжает помогать своим бывшим единоверцам, что он очень зол, умен, хитер, что ему ничего не стоит переиначить любое распоряжение халифа, обмануть его и всех придворных, перессорить самых мудрых и осторожных, помирить самых непримиримых. Шихаб ведал пробуждением и «восходом» халифа. Это давало ему огромные преимущества перед другими слугами и приближенными. Он принимал первые распоряжения владыки всех мусульман, отвечал на первые его вопросы, первый оповещал халифа обо всем, что произошло за ночь. От него зависело, в каком настроении покажется Мансур народу, на кого обратит гневный, а на кого благосклонный взгляд, кого одарит улыбкой, с кем разделит утренний завтрак, за кем первым пошлет, кого будет проклипать, по ком будет плакать, за какие дела примется, а какие отложит на завтра.

Великие преимущества! Шихаб умел пользоваться ими, как никто другой. Ведь были же и до него утренние слуги у халифов. Но куда им до Шихаба, им и в голову не могло прийти, что должность эта может считаться наивыгоднейшей и с ней не сравнить ни одну из других, существующих при дворе халифа.

Шихаб был слугой, слугой себя он и называл. Но звание это звучало по-разному. В одних слу-

чаях он говорил: «Я только слуга халифа, подаю утром свежий халат», в других: «Но я ведь слуга халифа», в-третьих: «Я слуга халифа!» — и все понимали, что кроется за каждым звучанием, чего требует Шихаб, что отвергает, чем недоволен...

Он мало говорил, но когда говорил, никогда не забывал упомянуть имя халифа. И от этого казалось, что устами Шихаба говорит сам халиф.

Шихаб уверял, что считает халифа Солнцем. Вот почему сейчас, приблизившись к владыке, Шихаб тотчас же натянул платок на голову, защищая глаза от нестерпимо ярких лучей, исходящих от Мансура.

Мансуру нравилось раболепие Шихаба. Он считал Шихаба самым искренним, самым правдивым, самым справедливым и бескорыстным человеком. «Вот что значит, — любил говорить Мансур, — когда грузин вовремя принимает ислам. Он перерождается, воспринимая все лучшее от окружающих». Все, что выдумывал Шихаб, стремясь почтить халифа, Мансур считал в высшей степени умным, исходящим от самого сердца, имеющим особое значение, подсказанное слуге самим пророком. «Немало мудрецов в Багдаде, да и в других наших городах, — думал халиф, — но ведь никто из них не догадывается, не дойдет своим ученым умом до замечательных, полных глубокого смысла выдумок, на какие такой мастер мой Шихаб».

Но сегодня халифу было не до выдумок Шихаба. Он в нетерпении сорвал с головы слуги платок.

— Хватит! Я зашел за тучи. Сейчас мои лучи может вынести любой смертный, — раздраженно воскликнуло «солнце».

Шихаб осторожно стал смотреть сквозь растопыренные пальцы, быстро и испуганно сжимая их, затем, убедившись в достаточной толщине туч, медленно и боязливо отвел руки от глаз.

Тяжелые облака и в самом деле нависли над халифом: тусклые глаза, обрюзгшее лицо, страдальческие складки у рта, согнутые под невидимой тяжелой кладью плечи.

Шихаб не сводит глаз с владыки. Еще немного, и он узнает все: как спал халиф, что видел во сне, с чем проснулся, что ждет от него, своего верного слуги.

Ничто не ускользает от внимания Шихаба. Лицо халифа, как раскрытая книга. «Он страдает, — читает Шихаб, — страдает больше, чем тот, кого он приговорил к смерти».

«Так, так, — продолжает Шихаб читать раскрытую книгу, — страдаешь и ждешь облегченья. Так слушай...»

— Истинной веры хулитель пел всю ночь, — безразлично сообщает Шихаб.

— Он готовился к смерти?

— Он готовился покинуть этот мир. Он пел молитвы.

— Страх и слезы слышались в его голосе?

«Говори же скорее, — читает Шихаб раскрытую книгу, — скорее, что ты тянешь, ты же видишь, мне плохо, я всю ночь не спал, этот грузин не дал мне уснуть, он всю ночь провел рядом со мной, он мучил меня. Говори же скорее!».

Но Шихаб молчит. Он смотрит на халифа так, будто не слышит вопроса.

— Он плакал? Он просил пощады?

Шихаб продолжает молчать.

— Он был жалок?

Шихаб вздохнул.

— Повелитель! Когда он пел, в его голосе звучали торжество и радость. Он торопил время.

— Он торопил время? Значит он жаждал умереть?

— Повелитель! Он сказал: «Как сладостна смерть, когда знаешь, что жизнь на этом не кончается и имя твое будет продолжать начатое тобой дело».

Халиф вскочил.

— Этот упрямый грузин надеется



ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ
ՆԱԽԱՐԱՐԱԿԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ

жить без головы? Кто назначен палачом?

— Тот, о котором мечтает каждый приговоренный к смерти... Сабля у него так остра... Родные казненного несут ему подарки за легкую смерть...

— Джалиль?

Халиф вскочил.

— Кто разрешил?

И закричал:

— Отменить! Слышишь? Отменить!

Послышались звуки труб и бой барабанов где-то в отдалении, затем ближе, потом со всех сторон — с площадей, улиц, базаров они ворвались в покои халифа: казалось, казнь должна совершиться где-то рядом, чуть не во дворе, чуть не в дворцовом саду, чуть не в опочивальне халифа. Халиф зажал уши, но и так продолжал он слышать бой барабанов, сзывающих народ на казнь...

Шихаб бросился к выходу и истоково закричал:

— Отменить! Отменить! Казнь отменяется! Отнять у палача меч! Обезоружить палача! Не трогать Нерсея!

Верховые глашатаи с криками «Казнь отменяется! Казнь отменяется. Не трогать Нерсея!» помчались на площадь.

Новый отряд барабанщиков выступил из дворцовой караульни. Под дробный бой пешие глашатаи стали оповещать об отмене казни.

Нерсея было приказано провести под окнами палаты халифа. Нерсей стоял на узкой высокой колеснице под белым смертным покрывалом.

Халиф поднял руку. Покрывало сорвали. Колесница остановилась. Некоторое время Нерсей все еще стоял с опущенной головой, затем поднял ее. Халиф отступил в глубину комнаты...

Обезоруженного палача держали за руки. Джалиль делал вид, что не верит отмене казни и вырывался.

Меч, отнятый у палача, принесли

во дворец и положили у ног халифа. Шихаб провел по лезвию белым платком и показал халифу: крови на платке не было...

Совет мудрых был созван в этот же день. Пришли все, кроме сирийцев-христиан, занятых срочной работой в багдадской академии Бейталхикма. По велению халифа они переводили на арабский язык греческих философов.

Халиф спрашивал, как быть с врагами халифата, достаточно ли строго наказывают их судьи, справляются ли со своими обязанностями палачи. Оказалось, что судьи не только в отдаленных местах, но и в самом Багдаде правому суду предпочитают спокойную жизнь и богатство... Наказывают во всех случаях тех, кому нечем откупиться — бродяг и бедняков, нищих, разорившихся ремесленников. Говорили, что казнь голодных, измученных жизнью людей — пустое, никому не нужное дело. Палачи обленились, забывают мастерство, плохо обучают своих помощников.

Не секрет, что некоторые палачи проявляют неприличествующее палаческому делу отношение к своему ремеслу. У всех еще в памяти случай с палачом Джалилем. Этот слуга правосудия допустил бегство приговоренного с места казни. Когда выяснилось, что приговоренный скрылся в мечети и не хочет ее покидать, Джалиль сам отправился в мечеть и стал уговаривать преступника добровольно явиться на место казни. Он дошел до того, что стал обещать приговоренному легкую смерть. «Не бойся,—говорил Джалиль,— я так отточил саблю, что ты даже не заметишь, как твоя голова отделится от туловища».

Мудрецы зашумели: «Кто этот Джалиль?», «Повесить мерзавца», «Лишить звания палача».

Когда мудрецы поутихли, халиф спросил:

— Можем ли мы, попечительствующие о добре, считать достой-

ным орудием гнева божья саблю, подобную сабле Джалиля?

— Ни в коем случае!

— Да не разгневаем всевышнего подобной саблей!

— Да покарает всемилостивый тех, кто так оттачивает сабли!

— Не только сабли, но и мечи, секиры, топоры!

— Не только топоры, но и веревки!

— Как это веревки, — удивился халиф, — как это можно оттачивать веревки? Кто это делает?

— Палач Сафар. Только не оттачивает, а чрезмерно смазывает салом, не дает повешенному и ногами подрыгать.

Халиф притворился непонимающим:

— Зачем он это делает?

— Ради денег, которые получает от родных приговоренного.

Мудрецы возмутились:

— Этого Сафара, — сказал один, — надо самого повесить на несмазанной веревке. Да так, чтобы он надрыгался ногами за всех повешенных.

— Я думаю, — сказал другой мудрец, — было бы справедливо, прежде чем повесить его на несмазанной веревке, вытопить из этого взяточника все сало, которое он получил.

— Топить надо на медленном огне, — посоветовал третий мудрец, а вешать вниз головой, чтобы вытряхнуть из него все деньги, которые он набрал.

Разделавшись с палачом Сафаром, мудрецы отметили, что топоры, мечи, сабли, секиры вытеснили, к сожалению, древнейшие и весьма разумные способы медленного умерщвления—закапывание в землю по шею, распятие на кресте, посадку на кол, отравление. Эти способы устрашали преступников, обеспечивали мирную, спокойную жизнь богобоязненным людям. Палачи постепенно превращаются в утешителей наших врагов. Это плохо.

— Очень плохо, — согласился халиф.

— Очень, очень плохо, — поспешили подтвердить мудрецы.

Халиф возмутился:

— Чему вы обрадовались? «Очень, очень плохо», — передразнил он мудрецов.— Да, плохо, потому что вы не так уж хороши, уткнулись носами в книги и знать больше ничего не хотите? Вот я и хочу спросить вас, — сказал халиф после небольшого молчания, — хочу спросить вас...

Мудрецы ждали, что халиф спросит их: «Ну, а как поприличнее казнить грузинского эрисмтавара? Не посадить ли его на кол?» И хотели сейчас же посоветовать посадить именно на кол, на хороший тупой кол, чтобы успел эрисмтавар, сидя на коле, поразмыслить кое о чем, — но халиф замолк, а самим предлагать приличную казнь мудрецы считали немудрым, мало ли что сейчас, после отмены казни, думает халиф об эрисмтаваре? И потом этот отвратительный Шихаб. Не его ли это проделка? И что тут удивительного, если грузин сговорился с грузином? Мудрецы молчали. Но так как долго молчать неприлично, мудрецы стали тихо переговариваться, и как всегда при встрече людей, знающих себе цену, не обошлось без взаимных колкостей, язвительных намеков, оскорблений.

Халиф ждал, что еще мудрого изрекут мудрецы. Но они, призванные решать большие государственные дела, перестали замечать присутствие халифа, и ссора между ними разгоралась.

Халифу это надоело. Он стукнул по голове ближайшего к нему мудреца и прогнал всех до одного.

— И все они не стоят одного Нерсея! Я бы их всех уничтожил, закопал в землю по шею, распял, посадил на самые тупые колы, лишь бы иметь на своей стороне

хоть одного мудреца, равного Нерсею!

Шихаб привел Нерсея во дворец в этот же вечер.

Нерсея вывели из темницы, дали умыться, принесли чистую одежду. Шихаб молча стоял в стороне, ждал. Когда вышли за ограду, Шихаб отпустил стражу. Главный стражник не захотел подчиниться и пошел сзади. Шихаб всю дорогу переругивался с ним. У входа в дворцовый сад Шихаб задержал тюремщика, отнял у него оружие и избил.

Нерсей был удивлен силой и проворством щуплого и хилого на вид слуги.

В саду Шихаб почтительно доктронул до руки эрисмтавара и сказал:

— Не осуждайте меня, государь! Я несчастен, как несчастна сейчас вся Грузия...

Нерсей даже не взглянул на Шихаба.

Халиф встретил Нерсея так, как будто между ними ничего не было. Он приказал Шихабу никого не впускать, усадил Нерсея и сказал:

— Я погорячился, но согласись, что и ты не был прав. Почему ты не захотел оправдываться?

Они проговорили до полуночи как старые друзья. Халиф как всегда просил рассказать про Грузию, много раз переспрашивал, хвалил привезенных в подарок ремесленников, интересовался, много ли таких в Тбилиси. Сказал, что обязательно вместе с Нерсеем теперь же отправится в Тбилиси, посмотрит все сам. Веры Нерсея халиф на этот раз не касался, ничего не говорил и про тбилисского эмира, но много раз повторил, что настало время кое-что изменить и что дурак тот, кто думает, что солнце, закатившись, наутро обязательно появится над землей — все зависит от воли аллаха. Петухи, правда, воображают, что все дело в их петушиной воле, пропоют — кончится ночь, не захотят петь — и не будет дня. Но ведь Нерсей не петух, Нерсей

все отлично понимает, иначе халиф не вел бы с ним сейчас дружеской беседы...

За ужином халиф собственными руками клал в рот Нерсею самые лакомые куски, отсылал блюда, если замечал, что они не очень нравятся гостю. Гранатовые, сливовые, ежевичные подливы сменялись ореховыми и миндальными.

Шейки цесарок, начиненные финниками, были очень вкусны, и халиф, шутя, разделил блюдо на равные половины, «чтобы никому не было обидно». Последнюю шейку он предложил разыграть (розыгрыш был слабостью халифа): кому достанется эта шейка, тот должен отказаться от какой-нибудь принадлежащей ему собственности. Выбор делает «обиженный судьбой», т. е. проигравший.

Обладателем шейки оказался Нерсей. Когда он уже облизывал пальцы и запивал шейку красным вином (оно в изобилии подавалось под видом гранатового сока), халиф сказал:

— Судьба обидела меня, отняла у меня шейку цесарки. Ну что ж, зато я могу потребовать у тебя какую-нибудь малость. Но мне надо подумать... А пока давай-ка продолжим разговор о Грузии. Ведь все, что у тебя имеется, находится в Грузии, здесь с тебя нечего брать.

И халиф стал просить Нерсея побольше рассказать о Тбилиси. «Я готов, — сказал халиф, — слушать тебя хоть всю ночь, до утренних петухов...»

— Это правда, что в Тбилиси ничего не стоит избавиться от самой несносной ломоты в костях, стоит лишь несколько раз окунуться в теплые тбилисские воды?

Нерсей подтвердил, что это так, тбилисские воды обладают этим замечательным свойством...

— Да что там от ломоты костей, — продолжал халиф, — я слышал, что тепло, исходящее от этих вод, не только восстанавливает

утерянные силы у мужчин, но и исцеляет бесплодных женщин.

Нерсей подтвердил и это. Халиф так посмотрел на эрисмтавара, как будто эрисмтавар скрывал и от халифа и от всех необыкновенные целебные свойства тбилисских вод, и только теперь случайно проговорился.

Халиф сокрушенно покачал головой.

— Вот ведь какое дело... А ты так бы и хранил эту тайну, если бы я не выпытал ее у тебя. Так бы и хранил...

— Это не тайна, — возразил Нерсей. И насторожился. Он знал — среди больших городов, подчиненных халифу, Тбилиси всегда привлекал внимание владыки всех мусульман. Основатель Багдада, Города Мира (Мадинат ас-Салам), халиф Мансур ревниво относился ко всякому городу, где было что-нибудь, чем не мог похвалиться Багдад. Горячие источники... С этим можно было примириться, но откуда в Тбилиси столько хороших ремесленников и почему тбилисские ткани, посуда, оружие, украшения в такой дорогой цене? Почему туда везут товары из самых отдаленных стран — Египта, Индии, Китая? А грузинские храмы? Они высятся на скалах, созданные самим богом вместе со всей природой — реками, горами, долинами, и некоторые так высоки, что, находясь в них, чувствуешь, как велик бог и как ничтожно его творение — человек. Так рассказывали приезжающие из Тбилиси сановники, купцы, военачальники... Эрисмтавар, услышав это из уст халифа, сказал:

— Верно, храмы наши высоки и обширны (хотя есть и совсем маленькие) и находясь в них, всегда помнишь о величье божьем, однако каждый грузин, входящий в храм, думает не о своем ничтожестве, а просит бога о ниспослании ему большой силы и мужества.

Халиф только пожимал плечами и говорил:

— Вы, грузины, народ несправедливый. Что вы кичитесь вашей верой? Знаете ли вы, что близкий конец и вашей, и армянской, и франкской, и всякой другой выдуманной веры предопределен свыше самим аллахом? О каком мужестве, о какой силе вы можете говорить, когда не находите средств уплатить налоги и мрете с голоду? Что еще хорошего сулит вам ваша вера? Полное уничтожение? И почему молчишь ты, умнейший из умнейших, почему не втолкуешь этим безмозглым упрямам, что пора кончать, пора образумиться? Или и ты не понимаешь самых простых вещей, которые понимает у нас всякий? Ну, взять хотя бы этот тбилисский крест...

И халиф вспомнил о знаменитом тбилисском кресте. Крест этот, большой, каменный, украшенный резьбой, стоит в Тбилиси при входе на мост. По велению халифа эмир много раз пытался убрать его, но тбилисцы всякий раз собирались у моста — пройти через эту толпу и остаться живым было бы чудом. На площадях, в храмах, на народных собраниях эмирские люди пытались объяснить грузинам, что мостом, наравне с грузинами, пользуются и мусульмане, нельзя заставлять их проходить под крестом. Тбилисцы избивали эмирских людей, не соглашались даже перенести крест во двор церкви. Невыносимый народ!

— Я пощадил твой народ, эрисмтавар. Я мог бы наказать его, стереть с лица земли, но я приказал забыть на время о кресте.

Забыть о кресте! Нет, халиф ни на минуту не забывал об этом. Никогда!

Распорядился, а сам не мог успокоиться. Как только начинал он думать о грузинских делах, крест тотчас же вставал перед его глазами. В дни, когда приходилось вести разговоры о Тбилиси, халифу даже по ночам виделся этот непокорный крест. Он возвышался не-

только над мостом, он вставал над всей Грузией, он осенял соседние Армению и Албанию и простирался на неведомый север, с народами, тоже отвергающими истинную веру человечества — ислам. Он преграждал путь войскам халифата, они падали перед ним ниц или в ужасе бежали от него...

Халиф никогда не бывал в Тбилиси, но в ночные часы, когда мерещился ему непокорный крест, он жил в этом беспокойном городе, он слышал, как до позднего вечера не смолкает в городе грохот кузниц и в них куют мечи с рукоятками, подобными кресту... Без устали ткнут тбилисские ткачи — стрекот их больших деревянных станков ни на минуту не смолкает, широкими полотнами сползает с них добротная ткань, вся унизанная крестами и крестиками, крестообразными лабиринтами, из которых нет выхода...

Сияние креста отражается в огромных чанах, где отмачивают кожу мастера, уверяющие, что целебная тбилисская вода возвращает мертвой коже жизнь. Кожи так много, что ею можно одеть всю страну. Кожей обшиты щиты, деревянные ножны, колчаны, из нее выкроены ремни, портупей, сандалии, ноговицы, — и всюду, где стягиваются ее концы, она оборачивается крестами и крестиками, и все они вырастают в один огромный, украшенный резьбой крест, сияющий в небе и видимый во всех концах беспредельного халифатского царства...

Халиф задыхается — он хочет покинуть город, но никто не может вывести его из города, околдованного крестом. В съестном ряду — туши мяса, живая рыба и горы испеченного хлеба. Он только что вынут из печи, и воздух наполнен его жарким, солнечным запахом. На круглом, как щит, хлебе две пересеченные линии — крест, опоясанный лентой из множества мел-

ких крестов, бегущих по краю хлеба.

Лучше не вспоминать о не имеющих конца ночных видениях, лучше попросить сейчас, в счет проигранной шейки цесарки, убрать навсегда из Тбилиси каменный крест. Крест убрать, а лучших тбилисских ремесленников — ковачей, медников, оружейников, каменщиков, красильщиков, пекарей — переселить в Багдад... Грузинские храмы, и те, что слились с горами, и те, что высятся над долинами и нивами, обратить в мечети. Пусть отныне славят в них истинного бога, а не бога нищих и убогих — Христа...

Халиф хочет сказать все это Нерсею, но не может. Он только тихо произносит:

— Тбилиси...

— Не понимаю, — ответил Нерсей.

Халиф так же тихо стал пояснять:

— В счет шейки цесарки я могу потребовать у тебя все, что угодно, понимаешь, все, что угодно, любую вещь. И ты не можешь отказать мне — ведь так? Не можешь? Ибо это долг, а ты не пойдешь против долга. Я же сейчас прошу у тебя самую малость — город, который и так принадлежит мне.

Нерсей удивился:

— Как же я могу дать тебе то, что и так принадлежит тебе?

— Но я не хочу такого Тбилиси, эрисмтавар! Ведь это только камни, сложенные в дома и храмы. Мне этого не нужно, у меня своих камней достаточно. Я хочу, чтобы мне принадлежал и весь народ, живущий в Тбилиси. Дать мне этот народ можешь только ты!

Халиф хотел посмотреть в глаза Нерсею, но не посмел. Чтобы скрыть волнение, он обмакнул жирный кусок баранины в ореховый соус, протянул ко рту Нерсея. Эрисмтавар открыл рот и принял угощение. Халиф заглянул ему в глаза — они как будто выражали

удовольствие, а не обычную, тревожащую халифа, непреклонность.

— Ну, вот так, — набрался духу халиф, — ты даришь мне Тбилиси, весь, не только камни, Тбилиси со всеми людьми, и эти люди чтут и признают меня — во что я верю, в то и они верят, чего я хочу, того и они добиваются...

Нерсей молчал.

Халиф ждал.

— Повелитель, — спокойно сказал Нерсей, — напрасно сегодня утром ты не отрубил мне голову. Впрочем, это не трудно сделать хоть сейчас. Отруби мне голову, засоли ее, как ты собирался сделать, подсуши на солнце и пошли в Тбилиси. Там покажи ее народу, всему тбилисскому народу и предложи ему перестать быть грузинским народом. Народ поймет, что ему делать. Я же не скажу ни слова: отрубленная голова молчалива, но не было еще случая, чтобы она ни о чем не говорила народу...

Халиф все понял. Шумно глотнув воздух, он перестал дышать. Стеснение, которое он испытывал перед Нерсеем, прошло. Он вскочил на свои короткие ноги, выпятил живот.

Поднялся и Нерсей.

Сразу потеряв голос, халиф шипел, лишь изредка вскрикивая:

— Пугать вздумал? Меня?! Амир-муминина?! Халифа?! Основателя великого Города Мира? Меня? Нет, нет, нет! Я не отрублю тебе голову, я не распну тебя! Нет! Ты будешь жить. Будешь жить... Но жить хуже, чем живут мертвые в своих могилах... Я сам буду заботиться о тебе. О тебе... о твоих муках. Сам! Сам! Твои глаза провалятся, но будут видеть. Язык твой отсохнет, но будет лепетать о пощаде... Уши твои оглохнут, но ты будешь слышать голос палачей... Будешь слышать!

Когда Нерсея увели, халиф лежал на полу. Он задыхался от гнева. Его отпаивали разведенным в розовой воде шербетом...

С тех пор три года испытывал халиф Мансур грузинского эрисмтавара... Велики были страдания багдадского узника. Но, как рассказывали потом в народе, не менее мучился и сам великий халиф. Он жил единственной мыслью — сломить волю непреклонного грузина, а когда один из мудрецов — Нуреддин сказал, что Нерсей не при чем, что в нем, эрисмтаваре, заключена воля всего грузинского народа, что следует забыть о Нерсее и всей силой обрушиться на тех, кто питает его волю, дает ему силу, обнадеживает его, — халиф велел казнить старого хаджи, как еретика, не признающего земных владык, ставленников бога, правящих на земле независимо от воли управляемых ими народов.

Сын халифа Мансура Ал-Махди, наследник халифата, видел страдания отца. Он пытался отвлечь халифа от мыслей о грузинском эрисмтаваре.

И прибег однажды к крайней мере — подослал к отцу лжевестника, сообщившего о скоропостижной смерти Нерсея.

Халиф не поверил, стал искать виновников смерти и готов был лишиться жизни главного кадия Багдада, не углядевшего будто бы за палачами. Пришлось сейчас же опровергнуть сообщение и в доказательство привести самого Нерсея.

Халиф расплакался и обнял вошедшего к нему Нерсея.

Вскоре после этого халиф Мансур умер, и на престол взошел сын его Ал-Махди. Он сейчас же освободил Нерсея, восстановил его в звании эрисмтавара Грузии и оказал ему и его семейству царские почести.

Нерсей стал готовиться к отъезду на родину. Незадолго до отъезда он тайно вызвал к себе старого халифского слугу Шихаба. Они долго беседовали. Шихаб, расставаясь, целовал эрисмтавару руки, плакал. Новый халиф после



смерти отца отказался от услуг Шихаба, но оставлял его при дворце.

— Восход солнца в халифате будет происходить уже без моего участия, — говорил Шихаб, — но я по-прежнему буду оставаться, чтобы над Грузией не собирались тучи. Верь мне, государь, — истинным моим солнцем всегда была только Грузия. Была и будет. Не осуждай меня.

Судьба Хашима, отбельщика тканей из Мавераннахра была решена.

Шихаб обещал, пусть даже ценою собственной жизни, устроить побег бывшего сподвижника Абу Муслима.

Вместе с эрисмтаваром из подземелий, ям, крепостей, было выпущено более трехсот грузин, Ал-Махди расщедрился и присоединил к ним еще около четырехсот рабов, в разное время вывезенных из Грузии: тбилисский эмир писал, что в Грузии в иных местах земля так опустела, что ее некому пахать. Среди отпущенных оказалось немало ремесленников — ковачей, оружейников, шорников, хлебопеков, кожевников. В плену они тщательно скрывали свое мастерство — простым, ничего не знающим людям легче было вырваться из неволи.

Готовился к отъезду и юный мирносец Хабиб, один из лучших

мастеров своего дела в Багдаде. Он не покидал эрисмтавара с тех пор, как ему пришлось встретить грузинского правителя в дворцовой бане. Махди не мог отказать в просьбе Нерсею и отпустил мирносеца Хабиба в Грузию. Священник эрисмтавара Иоанн Сабанисдзе не одобрял выбора Нерсея, но впоследствии в книге, посвященной Хабибу, писал: «По происхождению он был из сынов Измаила, из сарацинского племени, рожденный по отцу и матери не от иноплеменной наложницы, но из племени аравийцев. Отец его и мать, братья и сестры жили тоже в Багдаде Вавилонском. Это был юноша — отрок восемнадцати или меньше — семнадцати лет... И этот, рожденный от Авраама, оставил отца, мать, братьев, сестер и родственников своих, также имущество и поля свои...». Сабанисдзе писал именно так, он не мог написать иначе, потому что арабы, не сумев сломить волю Хабиба, стали отказываться от него и уверять всех, что Хабиб не был никогда арабом.

В разгар лета — время, неподходящее для похода, — грузины выступили из Багдада.

Трехлетний плен Нерсея, эрисмтавара Грузии, кончился. Но в плену оставалась еще сама Грузия — ее горячее сердце — Тбилиси.



Владимир СОКОЛОВ

С ДРУЗЬЯМИ

Ревазу Маргиани

Люблю, когда друзья мои в Тбилиси
В пылу беседы общей за столом
Заговорят, до звона речь возвысив,
Своим, почти орлиным языком.

Я прислонюсь тогда щекой к ладони,
Заслушаюсь, на лица загляжусь,
Порадуюсь, что я не посторонний,
Что своего молчанья не стыжусь.

Что вот и сам твержу я с их же пылом
На языке, что дал мне дед-тверяк...
А небо над художническим пиром
Зашло за звезды! Полночь при дверях.

Но все внимают листья-непоседы,
И складки гор, и дуновенья трав,
Как мы ведем высокие беседы,
С грузинской речью русскую смешав.

Я говорю о стихотворном ладе,
Ликую!.. А пока я говорю,
Сосна Мтацминды клонится и гладит
По-матерински голову мою.

БАБОЧКИ

Я жил в горах легко и гордо.
Но по ночам, как злая новь,
Мне перехватывала горло
Моя старинная любовь.

Она депешою влетала
В мой дом, не трогая дверей.
Ночную бабочкой витала
Над желтой лампочкой моей.

Я уходил. И под ветвями,
Как будто мальчик во хмелю,
Перед садами и плодами
Винился в том, что я люблю.

Что я — опять! — забыл о деле...
А надо мной, полонены,
Ночные бабочки хотели
Достичь мучительной луны.

Я бормотал свои тирады,
Не поднимая головы.
Но иронически цикады
На них свистели из травы.

Они одни мне отвечали,
Смеясь на тысячу ладов.
А виноградники молчали,
Уже грузнея от плодов.

А на горе желтела точка
И вспять звала меня к крыльцу —
Где в стекла рамы билась строчка,
Роняя с крылышек пыльцу.

Тогда-то, это все изведав,
Давно, среди этих же долин,
Живой склонился Грибоедов
Над бедным правнуком своим.

Он ничему не удивлялся.
Он просто веровал и знал.
И белый дух над ним склонялся
И лик ронял, и горько звал.

Зачем смеяться над любовью!
Мы не годимся в свистуны,
Мы чистой завистью и кровью
Не суесловью преданы.

Я шел домой сквозь шорох ночи.
Там разбирал свои листы.
И южных звезд смотрели очи
В мое окно. Совсем как ты.

И если что-то мне мешало,
Так только то, что за стеной,
Пора осенняя шуршала,
Да мышь летучая летала,
В окно влетала и витала,
Как тень, за бабочкой ночной.

* * *

Хотел бы я долгие годы
На родине милой прожить,
Любить ее светлые воды,
И темные воды любить.

И степи, и всходы посева,
И лес. И наплывы в крови
Ее соловьиного гнева,
Ее журавлиной любви.

Но, видно, во мне не железо
Живет точно пуля в коре,
Коль — детище нежного леса —
Я льну и к Магнитной горе...

Хочу я любовью не устной
Служить им до крайнего дня,
Как звездам, как девочке русой,
Которая возле меня.

ЦИКАДЫ

Я думал — рассветные птицы поют,
А это цикад свиристенье.
Внушает им пенье их темный уют,
Дрожащие ночью растенья.

А я пробудился. Как будто в окне
Большая заря наставала.
А было черно. И подумалось мне:
Лишь этого недоставало.

Но так и случилось. В оконный проем
Шумели кусты-невидимки.
И думал я долго о прошлом твоём,
Что в бедной скрывается дымке.

От этого зябко щемило в груди
И будущее закрывалось
Всем тем, что угасло давно позади,
Но все ж позади — оставалось.

И всю эту влажную южную ночь
С открытыми спал я глазами.
И было уже мне мириться невмочь
С бездонными их голосами.

Но вот они смолкли, зажав в кулачке
Рассветной росинки монету...
И снилось тебе о домашнем сверчке,
Которого все еще нету.

Гурам ДОЧАНАШВИЛИ

Что там, за горой...

РАССКАЗ

Перевод с грузинского К. Мжавня

Во главе стола сидит Капито. Напротив него — жена. По обе стороны — два сына и дочка. Все они молча едят жареные баклажаны. С особенным аппетитом ест Капито.

— Не кромсайте хлеб руками, лучше нарежьте, — нарушила безмолвие жена.

Младший из сыновей вынул из кармана нож, тщательно протер лезвие и принялся нарезать хлеб. Нож очень нравился мальчику.

Его подарил отец три дня назад, — когда пришел домой в хорошем настроении. За эти три дня мальчик выстругал несчетное количество палочек, а за обедом нарезал хлеб. Ему всегда доставляло удовольствие выполнять поручения отца, и теперь за столом он каждый раз терпеливо ждал, когда отец скажет: «Нарежь хлеб, сынок!» Тогда он доставал нож и нарезал хлеб очень тонкими ломтя-

ми. Потом щелкал лезвием и прятал нож в карман.

— Ешь, дочка, — сказала мать, — не возись.

— Не хочу баклажаны...

— Почему?

— Не хочется!

— Я тебе покажу «не хочется», — прикрикнул Капито. — Ешь сейчас же!

Девочка покорно взялась за вилку.

Капито кончил есть и оглядел сидящих за столом.

— Дрова наколот? — обратился он к старшему сыну.

— Да, папа. — Мальчик робко улыбнулся.

— Много?

— Много, много, — вмешалась мать.

— Молодец, Дзуку! — похвалил Капито. — Принеси-ка, холодной воды.

За водой побежала Мело.

— Вот и пообедали, — сказал Капито, поднимаясь. Жена начала убирать со стола.

Капито залпом выпил стакан воды. Лег на тахту и принялся ковырять спичкой в зубах... Мело раскрыла книгу с картинками.

— Дзуку, принеси табаку.

— Сейчас.

— Р... а... — ра... — вполголоса разбирала Мело крупные буквы в букваре. Младший из братьев смотрел в окно.

— Куда это ты уставился, парень?

Мальчик вздрогнул, смутился и подошел к Мело. Девочка старательно складывала буквы.

— Р... а... ра, м... а... ма... Рама! — радостно воскликнула она и гордо посмотрела на родителей. Капито зевнул.

— Я приведу быков, отец, — сказал Дзуку.

— Приведи, приведи. Тебя сегодня не вызывали, Мело?

— Нет.

— А тебя, Зура?

— Тоже нет.

— Что это вас в последнее время не вызывают? — рассердился вдруг Капито.

— Я ведь только вчера отвечал, — возразил Зура.

— По какому?

— По географии.

— Тебя что, только по географии и спрашивают?

Мальчик молчал.

— Любит он географию, — вступилась мать.

Зура застенчиво улыбнулся.

— М... а-ма... — бормотала Мело.

Зура осторожно отворил дверь и выскользнул во двор. Мело тут же вскочила:

— Все. Выучила уже.

— Тсс... — мать приложила палец к губам. Девочка испуганно покосилась на тахту. Капито спал.

— Я немного поиграю, можно? — шепнула Мело. Мать кивнула. Де-

вочка бесшумно подошла к двери; дверь протяжно скрипнула, и Мело вдруг захотелось засмеяться, но она сдержалась. Подбежала к брату и только тут тихонько рас- смеялась.

— Чего смеешься? — удивился брат.

Из дому вышла мать.

— Пойди, сынок, пригони индюшек.

Мальчик нахмурился, потом спросил:

— Где они?

— Верно, в роще. Да куда же ты?

— Книгу возьму с собой.

— Возьми, сынок.

Роща, куда выгоняли индюшек, тянулась по берегу маленькой речки. За речкой было поле, за полем — поросшая колючим кустарником высокая гора. Мальчик задумчиво смотрел на знакомые очертания горы. Смотрел и не знал, что там, за горой.

В учебнике географии много карт. Мальчик перелистывал страницы, выскивая строчки, напечатанные самыми мелкими буквами. В этих строчках всегда было самое интересное.

Мальчик читал, и перед ним возникали неведомые города с широкими улицами и красивыми домами... Текли бурные реки, белели величавые, покрытые вечными снегами вершины, вставали непроходимые леса, по которым пробирались отважные путешественники; над вулканами стлался сизый дым, а по глади океана плыли сверкающие айсберги. В зеленых джунглях, по зеленым звериным тропам, тяжело ступали слоны. Вороненой сталью поблескивали мертвые озера. Пахло морем, и где-то одиноко высилось исполинское дерево — секвойя.

Мальчик оторвался от книги, устремил взгляд вдаль...

Роща тянулась вдоль маленькой речки. За речкой было поле, за по-

лем — поросшая колючим кустарником высокая гора...

«Венеция замечательна своим месторасположением — она разбросана на многочисленных островках (их более ста), — рассказы-вали страницы книги. — Дома стоят прямо на воде; вместо улиц — каналы; по каналам передвигаются на гондолах — лодках с плоским днищем и длинным веслом. Гребец — гондольер, помещается на корме гондолы».

А дальше — крупными буквами: «Основные черты хозяйства Италии».

Мальчик поднял голову и увидел все то же: поросшая колючим кустарником высокая гора; та же речка; та же роща.

Капито проснулся в отличном расположении духа.

— Напой меня водой, дочка!

Мелс сломя голову помчалась во двор. На запотевшем глиняном кувшине сверкали прозрачные капли.

— Хорошая вода, холодная... Молодец, дочка, расти большая!

Капито вышел на балкон, обвел взглядом виноградник и улыбнулся — урожай в этом году будет на славу.

Зура загонял во двор индюшек. Вид у него был удрученный. Капито забеспокоился:

— Что, индюшек растерял?

— Да нет.

— Два, четыре, шесть... десять, — быстро пересчитал Капито. — Все здесь. Молодец, сынок. Будь всегда внимателен.

— Да, отец.

Из школы Зура обычно возвращался с соседским мальчиком — они учились вместе, в шестом классе.

Пока Зуру не отдали в школу, он почти не выходил со двора — все бегал по пятам за отцом и старшим братом. Они ворчали — путается, мол, под ногами. Мать редко на него сердилась.

К нему приходил соседский мальчик, и они вместе играли. Иногда, расположившись в тени, подолгу глядели на облака. Облака были легкими, нежными, как ласка матери.

Однажды, играя, мальчики взобрались на высокое дерево, и домой Зура вернулся в разодранной одежде.

Капито схватил сына за плечо:

— Ты где это разорвал рубашку?

— Лазил на дерево...

Отец ударил сына. Мальчик посмотрел на него с недоумением и обидой.

Во дворе толпились соседи. На балконе с ружьем в руках стоял Капито. Лицо его выражало злую радость.

Зура разомкнул кольцо собравшихся.

Посреди двора на земле распластался коршун. Из раздробленного крыла сочилась кровь. Крючковатый клюв бессильно уткнулся в землю. Зура подошел ближе. У раненой птицы сверкали налитые кровью глаза. Но в них не было боли. В них была только тоска.

Мело испуганно разглядывала коршуна. Капито недобро ухмылялся.

Зура подошел к отцу. Тот отвел взгляд.

— Вредная птица, — бросил он.

Зуре было очень жаль окровавленного коршуна.

— Интересно, он выживет? — спросили рядом.

Капито вскинул ружье:

— Отойди, Зура!

— Не надо!

— Отойди. Кому говорят!

— Не надо, отец, жалко!

— Все равно подойдет, — сказал кто-то.

— Не трать зря заряда, Капито...

Капито призадумался.

— И как это ты достал его так высоко?

Капито самодовольно улыбнулся.

— Выбрось его куда-нибудь, сынок.

Зура посадил коршуна в деревянный ящик. Сверху прикрыл ящик доской, а на доску положил большой тяжелый камень. Потом он принес из дому хлеб, крошил, набросал на ящик охапку сена. — чтобы не заметил отец.

Через некоторое время Зура заглянул в ящик. Коршун тоскливо смотрел на крошки хлеба. Раздробленное крыло продолжало кровоточить. Откуда-то налетели большие зеленые мухи и сели на рану. Коршун повел головой и шевельнул крылом. Мальчик улыбнулся, отогнал мух.

— Пойди, Зура, присмотри за индюшками.

Мальчик нахмурился.

— Пойди, сынок.

— Лучше воды принесу.

— Вода есть.

— Нарублю дров.

— Дзуку уже нарубил.

— Не хочу к индюшкам.

— Пойди, сынок, — ласково сказала мать. — Иди, родной.

Речка. Гора. Мальчик вспомнил учебник географии и пожалел, что не захватил его с собой.

Он навзничь бросился на траву. Перед ним возникали прекрасные замки, стоящие прямо в воде. По воде бесшумно скользила гондола. На корме стоял гондольер и греб длинным веслом. Но вдруг это видение исчезло, будто кто-то легонько стер рисунок, сделанный мелом; и появилось исполинское дерево — секвойя... Потом он увидел вулкан, над которым стлался сизый дым.

Мальчик перевел взор с облаков на гору, поросшую колючим кустарником. Он встал, огляделся.

Опять та же роща. Та же речка. Та же гора.

«Что там, за горой?»

Вдруг гора стала приближаться. Мальчик сначала удивился, но потом догадался — это он сам идет к горе.

Он взбирается по крутому скло-

ну. Колючие кусты царапают лицо. Ноги скользят. Дышать тяжело. Дрожат колени, но он все идет и идет, поднимается вверх, цепляясь исцарапанными руками за кусты. Мальчик стоит на вершине.

Внизу — деревня. За деревней — большое поле. За полем тоже гора. И все. Ничего нового. Мальчику захотелось подняться и на ту гору. Он посмотрел на свои исцарапанные ноги, подумал: «Вот бы мне крылья!» — и вспомнил про деревянный ящик.

Зура стал спускаться. Зацепился за ветку, рубаха затрещала.

Коршун высунул из ящика голову и с тоской смотрел в небо. Крошки хлеба валялись нетронутыми на дне ящика.

«Может, он поест мяса...»

Зура вошел в комнату. Мать ахнула. Капито поднялся со своего места.

— Где ты был?

— Взбирался на гору.

— Это зачем? — Капито замахнулся на сына, но сын смотрел прямо в глаза, и отец опустил руку.

Коршун клювом рвал мясо. Зура поставил в ящик миску с чистой водой. Потом взял у матери немного ваты, смочил в водке и промыл коршуну рану. Зура, не отрываясь, смотрел на сильные крылья коршуна, крылья, которые с легкостью переносят его с горы на гору. Это на них взмывает он высоко в небо и летит, куда вздумается. Эти крылья могут перенести его и туда, где дымятся настоящие вулканы, где буйствуют самумы, и туда, где плавают айсберги, где одиноко стоит исполинское дерево — секвойя.

Зура отодвинул доску. Коршун не взлетел. Он неуклюже заковылял к кустам. Зура смотрел в небо и ждал, когда птица взмоет ввысь. Время шло. Мальчик ждал.

Коршун описывал в воздухе круги...

Взгляд мальчика следил за полетом птицы, и на голубом небе ри-

совались большие города, сверкали на солнце величественные снежные вершины и плавали в море айсберги, слышался шум водопадов и плеск озер.

Зура был счастлив. — он больше не одинок. С радостным криком бегал он по двору, размахивая руками.

Он долго так бегал. И вдруг замер. Удивленно посмотрел на кусты, куда рухнул коршун, и тотчас осознал, что слышал звук выстрела.

На балконе стоял Капито с ружьем в руках.

— Это ты стрелял? — крикнул мальчик.

— Да.

— Почему?

Капито и не ответил.

— Почему? Почему ты убил его? — снова закричал мальчик.

Он приближался к отцу, который все еще стоял на балконе.

— Ведь он не унес индюшат! Не унес! — кричал он.

— Что с тобой? — встревожился Капито.

Зура резко нагнулся, схватил камень и побежал. Он размахнулся, швырнул камень, но индюшка ус-

пела отскочить в сторону. Мальчик повернулся и лицом к лицу столкнулся с отцом. Тот был взбешен.

Зура лежал в хлеву, на сене. Он горько плакал, уткнувшись в колени матери. Мать ласково успокаивала его, и ему вспомнились облака. И коршун.

— Мама! Мама, почему он убил его?

— Успокойся, сынок!

— Почему он выстрелил? Почему убил? Ну, почему?!

— Полно! Полно, сын! Ты же мужчина?

Мальчик отер слезы.

— Коршун выживет, да? Он выживет?

— Да, Зура, конечно, выживет.

Зура закрыл глаза и сразу увидел раненую птицу. Она лежала под колючим кустом, тоскливо смотрела куда-то и не замечала, что из подбитого крыла сочится кровь. Потом коршун шевельнул крылом.

Мальчик открыл глаза. Он смотрел на далекую гору и улыбался.



Джансуг НИКАБАДЗЕ

ДОРОГИ

Когда порог родного города
Зарею обновлен волшебю,
Седые камни смотрят молодо
И источают свет целебный.

Очнувшись, вскидываю голову
Над перечеркнутой страницей —
Стихи в окно летят, как голуби,
Чтоб с небом благодарно слиться.

И вновь бреду я неприкаянно,
И город шепчется, как роща,
И говорят со мной окраины,
Припоминая и пророча...

О, эти улицы и площади!
Они — как древние шкатулки,
Легендами, как мхом, обросшие,
Они таинственны и гулки.

Они не схожи меж собою,
У них различны биографии:
Одни — обласканы судьбою,
Другие — веку не потрафили.

Они себя и жгли, и тратили,
На сквозняках дрожали хлестких.
Они, как старые приятели,
Встречаются на перекрестках.

Они рыдали и томились,
И, распрямляя горб натруженный,
Со всей странюю ввысь стремились,
Дыханьем новизны разбужены.

О, новым веком освященные
Любви и счастья магистрали,
Цветами щедро освещенные,
С годами вы моложе стали!

Причесанные и вихрастые,
О улицы, — вам столько помнится...
Я вас люблю! Навеки здравствуйте,
Певуны, модницы и скромницы!

Перевод с грузинского Д. Голубкова



Ордэ ДГЕБУАДЗЕ

Королева утренней зари

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Перевод с грузинского М. Эсакия

Мы поселились в великолепном трехэтажном доме на Квирипальском холме, на левом берегу Тибра. Наняли слуг и горничных. В конюшне появились арабские скакуны чистых кровей. Купили новенький «Бенц».

Все было, как в сказке, когда исполняется любое желание. Я боялся оглянуться назад, чтобы не усомниться в законности, прочности всего, что происходит в настоящем. Только ночами в затуманенном сознании злыми видениями возникал передо мной старый, сердитый дед, злая на все человечество бабка и все, связанное с ними.

Как только мы устроились, Варвара, проявляя деловую сметку, приобрела на четыре миллиона рублей акций. Я совершенно ничего не понимал в этом деле, но жена убеждала меня, что ценные бумаги принесут нам немалый доход. И правда, довольно скоро мы стали получать дивиденды от приобретенных нами акций химических и горнодобывающих компаний. Может быть, все эти факты, описываемые мною, и не представляют интереса для следствия, но я все же хочу подчеркнуть верность и преданность моей жены, которая принесла мне столько счастья и которая... Но об этом — позже...

Я хорошо запомнил тот день, когда Варвара приобретала акции. Тогда я еще раз убедился, что она считает меня своим истинным другом жизни. Заперев опромную пачку акций в свой сейф, она передала мне ключ от него и сказала:

Окончание. Начало см. в журнале «Литературная Грузия» № 5, 6, 7, 8 и 9.

— Все эти бумаги я оформила на предъявителя.

Этим она еще раз дала понять, что доверяет мне. За три года виденды на ценные бумаги превысили три миллиона.

Жизнь стала представляться мне простой и несложной, как орлу, взлетевшему под облака. Величественный Рим со своей романтикой, с фонтанами и скульптурами, с дворцами и искусственными озерами, с памятниками древности — казалось, все это создано для моего удовольствия и увеселения. Я стал отличным наездником и даже завоевал однажды приз на скачках. Конный спорт увлек меня. В Мадриде я купил вороного рысака за пятьдесят тысяч долларов и потом целый год платил по пять тысяч в месяц тренеру за его выездку.

Затем я стал искать иные способы тратить деньги. Коридоры в нашем доме были задрапированы белыми шелковыми полотнищами. По стенам, на панелях орехового дерева висели редчайшие фламандские гобелены и картины старых живописцев. Наш сад прославился на весь Рим под названием «Райские кущи». За длинной аллеей привезенных из Чили пальм, взору открывались апельсиновые и лимонные деревья. Спутанные заросли деревьев и кустов, по вечерам освещались японскими фонариками. Устремленная в небо струя фонтана высоко вверху раскрывалась чудесным букетом и спадала вниз серебряными каплями.

В миланской опере Ла-Скала у нас была абонирована ложа, и время от времени мы наезжали на премьеры.

Время шло. Я искал все новых и новых развлечений. Мы с женой решили отправиться в длительное путешествие. Моря и океаны, красивейшие приморские города и порты, экзотические острова объездили мы на своей быстроходной комфортабельной яхте. Всюду устраивали приемы и банкеты, поражая гостей щедростью и изысканностью. Прошло два года, прежде чем мы вернулись в Рим, который стал для нас вторым домом.

Казалось, мечтать больше было не о чем. Но душа человека беспокойна и ненасытна. Сердце — маленький комочек, негасимым факелом горящий в груди, — не насытишь ничем. Я мог добиться при помощи денег всего, чего бы ни пожелал. И тогда сердце подымало свой голос: «Неужели жизнь надоедает тебе, потеряла интерес и прелесть?» Разгульным весельем, пирами и азартной игрой старался я заглушить этот голос. Но все было напрасно.

Варвара замечала, что во мне происходят какие-то перемены, но ничего не спрашивала. И я чувствовал, что она пытается найти какое-то занятие, дело, которое могло бы увлечь меня. Предложила изучить мореплавание: «Потом, говорит, купим большой океанский пароход, и ты станешь на нем капитаном, а я буду сопровождать тебя на всех морях и океанах». Но сердце мое не лежало к этому.

Тогда Варвара приобрела большое поместье под самым Римом, понастроила там фермы для домашних животных и птицы. В искусственных озерах развела рыбу, заселила их лебедями. Высокая железная ограда огораживала лесные уголья — гектаров триста. Чего только не было в этих лесах! Олени и серны, фазаны и тетерева, кабаны и косули... Одним словом, все, о чем может мечтать душа охотника. В глубине лесной чащи был возведен дом, похожий на средневековый замок. С его башен просматривался любой уголок леса. А на псарне целыми сворами бегали борзые и гончие.

В один прекрасный весенний день Варвара отвезла меня в это поместье и, увидев мое удивление, сказала:

— Все это наше!

Целый год провел я там, не покидая ни на минуту своего замка.

Мне пришлось по душе новое занятие. Вместе со слугами, конюхами и егерями мы много работали по дому, охотились, рыбачили. Жизнь снова стала казаться мне привлекательной и интересной. Призрак опустошающей бездейственности отступил, но я не знал, исчез ли он навсегда или еще вернется. Мое возвращение к жизни могло оказаться кратковременным, если бы...

Барвара, приехав как-то из Рима, посмотрела на меня таким светлым, лучистым взором, так горячо бросилась мне на грудь, что я догадался: у нас будет ребенок!

Никогда не забуду я встречу с каким-то стариком-нищим, который однажды вечером, в пору нашей наивысшей радости, подошел к воротам замка с просьбой о подаении. Я зачерпнул в кармане горсть серебряных монет и насыпал ему в руку. Старик-нищий таинственно ухмыльнулся и с недовольным видом поглядел себе на ладонь.

— А золото? — спросил он. — Жалеешь. Понятно, жалеешь. — Потом ссыпал монеты из ладони в свою торбу и тихо продолжал: — Пусть будет жив и здоров твой наследник, пусть растет добрым молодцем. Но что дальше? Больше ты ни о чем не мечтал? Это было твоей целью в жизни?

Я нахмурился, но он не дал мне произнести ни слова.

— Сейчас у тебя есть все, — вытащив из торбы корочку сухого хлеба, отщипнул скрюченными пальцами кусочек и бросил себе в рот. — Жена принесла тебе богатство. Природа одарила здоровьем и красотой. Скоро появится ребенок и принесет в семью радость. Ну а дальше?

Я не отвечал. Открыв калитку, я бросил ему золотую монету, чтобы заставить его замолчать. Продолжая хихикать, он поймал монету на лету и подбросил на ладони.

— Вот это поможет добиться всего. Может быть, ты надумаешь заняться политикой? Денег у тебя много, сможешь быстро прославиться, станешь сенатором, министром, президентом... Должности и чины заставят тебя позабыть о действительности, а то как прожить молодому человеку, добившемуся всего в жизни? Не так ли?..

Больше не в силах молчать, я грубо прервал его:

— Не люблю болтунов! Убирайся!

— Ты прав, политики — болтуны. — И старик отправил золотой в торбу. — Но и без этого ведь нельзя! Всадник кормит коня сахаром, чтобы надеть на него узду. А может, ты предпочитаешь писательство? Впрочем, вижу, ты не любишь лицемерить...

Велев слуге выпроводить старика, я поспешно поднялся в дом. Но вкрадчивый голос неотступно преследовал меня. «Дальше? Что же дальше?!»

...Барвара так уверовала в рождение наследника, что появление на свет девочки оказалось для нее неприятной неожиданностью. Немалых трудов стоило мне убедить ее, что для родителей сын и дочь одинаково любимы.

Шли годы. Подрастала моя ясноглазая Люсана. Длинные ресницы, затенявшие и без того темные глаза, широкий разлет черных бровей, высокий чистый лоб, алые, всегда улыбающиеся губы, цвета воронова крыла вьющиеся волосы — в общем, девочка походила на меня. И только тонкая светлая прядка в волосах была у нее не моей, но эта прядка делала ее еще привлекательней.

В тот роковой вечер я, ни о чем не подозревая, спокойно сидел за столом в казино. Дверь игорного зала отворилась и вошел взволнованный, бледный, как смерть, мой слуга. Дрогнувшим голосом прошептал он, наклонившись к самому уху: «Девочке плохо!»

Вернувшись домой, я застал ужасную картину. В спальне жены на полу стояла лужа крови. Рядышком лежали два трупа: моя жена с перерезанным горлом и бездыханная Люсана со страшными кровоподтеками на шее.

По всему дому суетились полицейские. У изголовья варваринной кровати зияла непривычной пустотой раскрытая коробочка, в которой раньше лежала «Королева утренней зари». Все было ясно до ужаса. Проклятый блестящий камень стал причиной гибели моего счастья. Могли я предполагать, когда платил за этот громадный бриллиант двести тысяч фунтов стерлингов, что своей рукой вношу в дом гибель. Я подарил его жене, когда она родила Люсану. Оказалось, что я подарил им обеим смерть.

Целый год я вместе с лучшими агентами сыскной полиции разыскивал следы пропавшей «Королевы», но нам так и не удалось напасть на след преступников. Я пригласил крупнейших детективов из Англии. Однако все было напрасно. Я никогда не любил полицию, но сейчас, убедившись в ее беспомощности и бессилии, я возненавидел ее.

И тогда я решил: я сам разыщу губителя моей семьи и моего счастья, и сам отомщу ему. В газетах всех стран мира поместили объявление, что я, итальянский миллионер Игорь Таманов, награжу миллионом долларов того, кто сможет указать след убийцы моей жены и дочери и похитителя «Королевы утренней зари».

И вот однажды ко мне явилась молодая женщина в темном платье и попросила выписать ей чек на миллион долларов. Она обещала назвать человека, который увез «Королеву» из Италии в Россию и там продал ее. Получив заверение, что я выдам ей чек в обмен на сведения, женщина рассказала все, что знала. Вот ее рассказ:

«Дорите де Полин должен был через одну-две недели обручиться со мной. Но как раз в это время в его руках оказалась драгоценная брошь. Он увез ее в Россию и там продал какому-то богачу, по фамилии, кажется, Путилов. И этот богач на глазах де Полина преподнес ее в дар самой русской императрице...»

— Значит ваш сбежавший жених и есть убийца? — прямо спросил я у женщины.

— Он бросил меня и, разбогатев после продажи бриллианта, женился на восемнадцатилетней дочери какого-то виноторговца. Но все же я не могу взять греха на душу: он ничего не знал об убийстве...

...На третий день поздним вечером меня провели в лавку менялы на Целийском холме. Я с провожатым спустился в подвал. Здесь лежал связанный по рукам и ногам Дорите. (Боже правый, чего только не может совершить всемогущее золото!)

Мне не пришлось долго разговаривать с де Полином. Он сразу назвал имена убийц Варвары и маленькой Люсаны, указал их адреса. Дорите клялся всеми святыми, что ничего не знал о страшном преступлении до тех пор, пока не прочитал моего объявления в газете.

Еще до рассвета мои ребята привели в тот же подвал обоих убийц. Их трупы унесли волны Тибра.

Отомстив за жену и дочь, я почувствовал некоторое облегчение. В первый раз после того ужасного вечера я смог поужинать с аппетитом.

На другое утро я проснулся с таким чувством, словно Варвара и Люсана снова были рядом со мной. Я прошелся по римским улицам, посетил наше заброшенное хозяйство. На озере сел в лодку, поплыл к непуганным лебедям, покорно подставлявшим шеи моей ласке. В заповеднике подстрелил фазана. Потом, усталый и успокоенный, пошел в знакомую трактирию и до утра пил вино со случайными собутыльниками. Тоска отпусти-

ла сердце, снова захотелось жить, все кругом радовало и удивляло, как после тяжелой болезни.

Двери лучших римских гостиных с прежним гостеприимством запахнулись передо мной, все относились ко мне даже с еще большим радушием, чем раньше. Я невольно отмечал, что особенно старались угождать мне родители, имевшие невест на выданье.

Ежедневные пиры и балы рассеяли мою тоску. Шампанское и бордо, херес и портвейн лились рекой. Я ни на минуту не оставался один. В шумной компании дружков и сотрапезников я искал все новых и новых удовольствий. Но искушающий голос по-прежнему шептал мне на ухо:

«А дальше? Что дальше?!»

Однажды мой приятель-камергер устроил званый вечер, на который пригласил всех знатнейших граждан Рима. Среди гостей была и венгерская скрипачка Тамилла Заполия — красавица, дочь великого князя. О красоте Тамиллы тогда с восторгом говорила вся Италия. Приехавшая из Будапешта скрипачка держалась величаво и недоступно.

Но мое богатство, обходительность, умение держаться в обществе и внешность сломали ее гордость. Весь вечер она не отводила от меня глаз. К рассвету испанский херес сморил всех. Слуги по одному выводили гостей и укладывали в отведенных для них комнатах. А Тамилла... Тамилла в моей комнате стояла у окна и полными слез глазами смотрела на занимавшуюся у горизонта розовую полосу зари.

В тот же вечер после расставания с ней я особенно остро ощутил горечь своего одиночества. Все кончено, мне нечего ждать.

Если б Варвара и Люсана были живы, забота о них стала бы целью моего существования. «Их нет, для тебя все кончено», — со злорадством шептал тайный голос.

Да, все кончено.

И я решился. Положив в один из банков на свое имя миллион долларов, все остальные деньги я пожертвовал римскому муниципалитету. Остаток своего состояния я завещал скульптору Росси, чтобы он после моей смерти сделал надгробие на моей могиле...

Стемнело. Заполнив бензином бак своего нового «Фиата», я направился по миланской дороге. Триста километров я несся со страшной скоростью, надеясь налететь на что-нибудь по пути и сразу покончить все счеты с жизнью. Но руки непроизвольно поворачивали руль, отводя машину от всех опасностей.

Мотор фыркнул в последний раз и замолк. Горючее кончилось.

Я решил покончить с собой на том месте, где опустошится бак моего «Фиата». Опустив голову на руль, я достал револьвер, приложил к груди и нажал курок...

Я пришел в сознание на третий день. Полицейский следователь спрашивал о причине, побудившей меня совершить попытку самоубийства. «Жизнь надоела», — сказал я. Долго глядел он на меня с сожалением, потом поднялся и, извинившись, вышел из палаты. Скоро меня посетил врач-психиатр. На следующий день во всех римских газетах появились сенсационные сообщения о психическом заболевании известного миллионера Таманова.

Через шестнадцать дней мне разрешили покинуть больницу. Взяв в банке деньги, оставленные для надгробного памятника, я решил покинуть Италию.

Теперь меня поддерживала единственная цель: во что бы то ни стало вернуть «Королеву утренней зари» и принести ее на могилу жены. Долгое время я бесцельно скитался по разным странам Европы.

Прошел год, другой, навязчивая мысль о возвращении бриллианта

стала забываться. От моего миллиона не осталось и четверти, но по-прежнему газеты называли меня то миллионером, то принцем, то бароном.

Как раз в это время мне попала заметка в газете «Фигаро» о великом князе Николае Николаевиче. Газета среди прочих богатств князя мимоходом упоминала и «Королеву». Автор статьи с душевной болью поведал о том, что Николаю Николаевичу в спешке, с одним только адъютантом Кантакузен, пришлось бежать от стремительного наступления большевиков. А все его драгоценности остались у жены Кантакузена, которая не смогла выбраться из Крыма. Дальнейшая судьба этой женщины и ее маленькой дочери неизвестна. В заключение автор писал: «Вместе с другими сокровищами великого князя в руках Кантакузен осталась знаменитая брошь с бриллиантом «Королева утренней зари», пожалованная ей императрицей Александрой Федоровной.

Я решил любой ценой разыскать жену адъютанта или его дочь. Как раз незадолго до этого я сблизился с двумя приятелями, бежавшими из революционной России. Я поддерживал их, можно сказать — полностью содержал, кормил и одевал. Конечно, они не отказались помочь мне. Оба приятеля поклялись не покидать меня до конца.

Я передал им двадцать пять тысяч долларов и обещал каждому из них по стольку же, если они сумеют отыскать след Кантакузен.

Должен сказать, что они взялись за дело самоотверженно. Ни один уголок, где можно было хоть что-нибудь узнать об интересовавшей нас женщине, не оставили они без внимания. Но все розыски за пределами России были безуспешны. Стало ясно, что мать и дочь остались у большевиков.

Мои помощники советовали мне ехать туда. Мы испросили разрешения вернуться на родину, хотя на самом деле предполагалось, как только «Королева» окажется у нас в руках, вернуться за границу. Я должен был заполучить этот бриллиант, чтобы успокоить свою душу. А потом... Я сам не знал, что меня ждет потом.

Положив оставшиеся деньги в банк (после возвращения понадобятся!), я стал дожидаться визы. День проходил за днем, месяц за месяцем, но ответа все не было.

Деньги подходили к концу. Мои помощники предложили мне легкий путь поправить финансовые дела. Я согласился. Но не потому, что искал наживы. Просто я искал встречи с опасностью, чтобы хоть в этом найти забвение.

Первым объектом нашей новой «деятельности» стал сейф одного коммивояжера. Нацепив маски, мы отправились в его контору. Мои спутники оказались настоящими мастерами этого дела. Они вернулись после операции с таким спокойствием, словно просто выходили ненадолго прогуляться.

Мне понравилась их невозмутимая уверенность в себе. Они были надежными парнями.

Одного из них звали Сергей Стась, другого — Борис Саидов.

Может быть, кто-нибудь сочтет предательством с моей стороны то, что я называю их здесь. Но я искренне и глубоко убежден, что сейчас это не имеет никакого значения ни для них, ни для меня. Следствию и без того все известно.

Вот так все и началось. За одним «делом» последовало второе, за вторым — третье... Когда мы приехали в Россию, я уже был таким же опасным и хладнокровным налетчиком, как и мои коллеги.

Тайный голос порою напоминал мне о себе, но я быстро заставлял его умолкнуть. «Меня никто не жалел в жизни, и мне жалеть некого», — убеждал я его и... себя.

В поисках «Королевы зари» мы совершили немало похищений, ограблений и убийств. Я не стану описывать здесь все эти преступления — об этом со всеми подробностями расскажут мои соучастники — я ручаюсь за это. Стась и Саидов беспрекословно подчинялись мне, выполняли все мои приказания. Вокруг нас подобралась хорошо организованная и разветвленная группа, — наверно, надо сказать, — банда преступников. Я сделался распорядителем всей добычи, которая попадала в наши руки.

Чем можно объяснить мое «возвышение» среди убийц и бандитов? Пожалуй, тем, что для меня жизнь не представляла никакой ценности и я запросто играл со смертью. Это рождало уважение ко мне даже у самых закоренелых преступников. Я устанавливал свои законы, мой авторитет стоял вне всяких сомнений.

Перенеся свою деятельность в Советский Союз, мы все же не смогли напасть на след вдовы адъютанта Кантакузена и ее дочери.

В 1926 году пути-дороги привели нас в Тбилиси. Этот город тоже не сулил ничего обнадеживающего.

Как всегда, меня сопровождал Стась.

Дело происходило в мае. Аромат цветущей акации пьянил, кружил голову. Я решил пройтись по незнакомому городу, чтобы попытаться рассеять меланхолию, вновь охватившую меня.

Я медленно шел по проспекту Руставели. Выйдя на площадь Свободы, я поднялся по широкой асфальтированной улице, идущей от площади направо вверх. Пройдя подъем, я невольно отвлекся от своих невеселых мыслей, прислушавшись к веселому детскому гомону. Не отдавая себе отчета, я направился к тому двору, откуда доносился этот шум.

Я подошел к железным воротам. По двору с криком и смехом бегали маленькие дети в белых халатиках. Некоторые лопаточками и совками ковыряли песок. Другие, оседлав палки, неслись галопом на своих «скакунах». У самой ограды стояли две девочки. Одна из них — в красной шапочке, с завязками, — сжимала в кулачке маленький букетик цветов.

-- Вот фиалки, возьми, — говорила Красная Шапочка.

Другая протянула руку. Подняв голову, она заметила меня. Я окаменел: передо мной стояла моя Люсана — ясноглазая, с крутым чистым лобиком и длинными ресницами, которые затеняют зрачки. На алых губах играла улыбка, которая, казалось, не исчезает даже во сне.

Шатаясь, подошел я к воротам и, чтоб не упасть, ухватился за железные прутья.

С трудом переведя дух, я почему-то посмотрел на часы: было около двенадцати.

«Да, эта девочка может вернуть тебе жизнь», — прошептал на ухом тайный голос. Я повернулся и побежал вниз, к площади. Куда я бежал?

Тогда мы жили на одной частной квартире. Я надеялся застать Стасю дома: сейчас все мои планы были связаны с этим человеком.

...Ночью того же дня поезд мчал нас в Баку. На нижней полке двухместного купе спокойно спала моя «Люсана».

Здесь обрывались записи Таманова. У меня не поворачивается язык назвать это показаниями. Ни одного описания преступления, в то время, как он сам пишет, что в поисках «Королевы зари» они совершили немало грабежей и убийств.

Таманов убежден, что обо всем расскажут Саидов и Стась. Он ручается! Очень хорошо, допустим, что так. Но ведь и сам он должен сознаться, покаяться...

Вечером я вызвал Игоря к себе в кабинет. Учитывая его необычные привычки, предложил ему чашку кофе. Вначале разговор вращался

вокруг музыки, астрономии, мореплавания и еще бог знает каких предметов. Должен сознаться, что я соглашался почти со всеми высказанными им мыслями и воззрениями. Он с едва заметной улыбкой довольно кивал на мои слова. Но его глаза ясно говорили: «Я прекрасно знаю, что всеми этими штучками ты хочешь найти дорожку к моему сердцу, чтобы потом, когда мы перейдем к делу, я не усомнился в твоей искренности».

По моему убеждению, Игорь не лгал ни в своей исповеди, ни в разговоре со мной. Но профессиональная осторожность заставляла еще и еще раз испытывать его.

Я спросил:

— Если мне не изменяет память, когда я спросил вас о Петре Таманове, вы откровенно признались, что лишили его жизни. И потом добавили: «Не то осмелеют и Стась с Саидовым. Если бы не они, меня здесь не было бы...». Вы не договорили тогда, и я не настаивал. Может быть, сейчас вы объясните, что имели тогда в виду?

Игорь от души рассмеялся:

— Нет, память не обманывает вас. Наоборот, я восхищен вашей памятью. Вы тогда ничего не записывали, а сейчас повторили мои слова букровка в букровку. — Он спокойно взял чашку, отпил кофе. — Вы мне нравитесь, уважаемый Сандро. Наверно, мое откровенное признание обогатит ваш баланс... А если так... Для меня запереться не имеет смысла. — Игорь взял папиросу из моего портсигара и закурил. — Да, как я вам уже говорил, Петро был моим однофамильцем. Он хорошо пел и плясал — больше ничего не умел! Он был женат на очень красивой женщине. Кстати, она ваша соотечественница, грузинка...

Я притворно удивился:

— Кто? Как фамилия?

— К сожалению, я сейчас не могу вспомнить ни ее имени, ни фамилии. — Он отвел взор. Я понял, что он говорит неправду, чтобы не припутывать к делу Раису, и не стал настаивать на ответе.

— Впрочем, в этом нет необходимости, — продолжал он. — Эта женщина только однажды помогла нам, да и то против своей воли. Когда мои парни ограбили ювелирный магазин в Харькове, она заманила директора магазина. Уверяю вас, она не знала, что ждет этого человека...

— Ясно, — прервал я его. — Что с ним стало?

— Он не погиб, выжил. Правда, его потом обвинили в симуляции покушения и посадили в тюрьму. — Он засмеялся и застучал пальцами по столу. — Это было первый и последний раз. Больше жена Петро ни в чем не замешана.

— А мне говорили, что она участвовала и в ограблении Сионского собора, — сказал я.

— Тогда вы должны знать и то, что она пошла туда под угрозой смерти!

На сердце у меня отлегло.

— В таком случае Стась и Саидов должны помнить об этом, — полувопросительно высказал я предположение.

Игорь многозначительно поднял брови:

— Если они и забыли, я могу им напомнить...

— А Петро?

— Петро жил сам по себе. Когда мои ребята вызывали его на работу, он старался удрать из дому. А в последнее время даже вступил в связь с какой-то коридорной в Свердловской гостинице. Однажды он заявился к любовнице пьяный и обо всем натрепал, так что мы... К счастью, та женщина, как оказалось, умела держать язык за зубами. Однако нам

все же пришлось убираться навсегда из тех мест. А Петра, чтобы больше не болтал, ребята... — он щелкнул пальцами.

— Ясно. — Я кивнул. — А теперь о том, что вы имели в виду, говоря: «Чтобы Стась и Саидов не осмелели». Помните?

— Да, да, — прервал он меня. — Я рассказываю все это так, чтобы удовлетворить вашу любознательность... Не для протокола. Должен признаться, что после того, как я своими руками уничтожил убийц моей жены и дочери, я избегал сам мारаться в крови. И Стасю с Саидовым всегда повторял это. Правду говоря, я хотел тогда просто припугнуть Петра как следует... Но для тех... Для них цена человеческой жизни — грош. Например, для чего нужно было убивать бедную Кантакузен? Взяли бы себе «Королеву» — и все! Женщина и пикнуть не посмела бы. Да и мы по сей день на свободе разгуливали бы. — Таманов задумался, а потом торопливо заговорил, словно опасаясь позабыть что-то важное: — Когда меня подвели к убитому Петру, я обо всем позабыл, хотел тут же прикончить этих коршунов. Но потом сдержался, подумал: если их убить, кто же добудет тебе «Королеву»?

— «Королева утренней зари»! Вы собирались вывезти за границу это сокровище!

— Нет, нет. — Он вздрогнул, словно испугавшись чего-то. — Зачем было вывозить? Ведь моя Люсана была в Ленинграде! Он опустил голову, прикусил губу и тяжело вздохнул.

Я снова нарушил тишину:

— Хочу узнать кое-что насчет Сионского собора и Киево-Печерской лавры. Как вы помните...

— И про Киев выложили! — Он стремительно поднял голову и с недоброй улыбкой продолжал: — Видать, кто-то из наших уже дал вам подробный отчет. Этот человек должен был доложить и о том, что я почти ничего не знал обо всех этих делах. Об этом расспрашивайте Саидова и Стася.

— Они не говорили вам, зачем им понадобилась охота за древними иконами?

— Как вам сказать... Я, конечно, слышал, что какой-то иностранец обещал за икону баснословную сумму. Но меня это мало интересовало...

— Вы не видели этого человека?

— Видел однажды. Но его в тот же день ухлопали вместе с нашими ребятами в Киеве.

Иностранец!

В моей памяти снова возникла недавняя картина. Первый день ограбления Сионского собора... Председатель ЦИКа. Его рассказ об иностранце, который мечтал приобрести памятники древнегрузинской культуры.

Я усилием воли заставил себя вернуться к допросу:

— Следствие интересуют ваши соучастники.

— Естественно. Но их сегодня нет в живых, кроме тех, которых я назвал. Остальные убиты в Киево-Печерской лавре.

— Но оттуда бежали двое?...

— Не верьте, бежал только один. Это был я. — Он поднялся с кресла, налил себе воды. — Устал. Отпустите меня. Больше нам говорить не о чем.

— Не о чем?

— Если я вам понадоблюсь или вы усомнитесь в правдивости показаний Стася и Саидова, можете позвать меня. — И он повернулся, собравшись уходить.

— У меня к вам есть еще вопросы.

Он удивленно обернулся.

— Садитесь. Еще два-три вопроса, и я больше не буду вас задерживать.

Он молча уселся и приготовился слушать, но в его взгляде я чувствовал скрытую иронию.

— Вы говорили, что считали бессмысленным убивать Кантакузен, меня интересует именно это. Почему ее убили и с какой целью, куда вели ее ваши соучастники по Военно-Грузинской дороге?

Игорь внимательно и долго рассматривал чернильницу на моем письменном столе.

— Я вам уже рассказывал — им удалось пронюхать, что вдова адъютанта великого князя Николая Николаевича со своей дочерью живет в Тбилиси. Саидов познакомился с той девушкой, притворился влюбленным, уговорил взять с собой все драгоценности, имевшиеся в доме, и бежать. Он хотел представить перед старой вдовой дело таким образом, будто ее дочь похищена. А Стась, чтобы скрыть следы, потом ее... — Таманов снова щелкнул пальцами.

— Ясно, — прервал я его. — И еще напоследок вот что: в конце ваших показаний вы говорите о похищении девочки, но ничего не говорите о том, что с нею стало потом.

Игорь передернул плечами, смешался, словно не зная, что сказать. Потом нахмурился, потер лоб и со смущенной улыбкой, такой непривычной на его лице, заговорил:

— Да, да... Вы правы. О Люсане я написал очень неясно... — Смолкнув на мгновение, он упавшим голосом продолжал: — Я дал себе слово говорить только правду об этой девочке. Всю правду... Я понимаю, что мне ее больше не увидеть... Но мне было трудно...

Я попытался его успокоить:

— Теперь это не имеет никакого значения.

— Я понимаю. Но моя жизнь уже склонилась к финишу. Если бы можно было начать все сначала... — Он отвел от меня взгляд и снова уставился в чернильницу: — Да, я ее отвез из Тбилиси в Ленинград. Там живет знакомая пианистка — Римма Берлин. Я был уверен, что она примет девочку, как родную. И правда... Эта чудесная женщина стала для ребенка второй матерью. За каких-нибудь пять-шесть месяцев девочка даже позабыла свое настоящее имя — Ия!

— Где сейчас Ия?

— Я вам сказал: в Ленинграде у Риммы Берлин. Моя Люсана прекрасно играет на рояле, поет. Чудесная девочка. Ей пятнадцать лет, но она уже совсем взрослая девушка. — Глаза Игоря заблестели, он улыбался любовно и мягко, словно приглашая меня разделить его радость.

* * *

В тот же день Пиртахия вылетел в Ленинград.

Папка из архива с делом о похищении Ии Курхули подтвердила все, что рассказал Игорь. Я вызвал к себе Ладо Курхули — отца похищенной девочки и его жену, взял у них показания.

Через четыре дня из Ленинграда пришла телеграмма: Римма Берлин и Люсана вместе с Пиртахией вылетают в Тбилиси.

Я чувствовал радость и гордость: человек вторично рождался на свет. Такова наша работа — приносить людям счастье, оберегать от бед...

Черноглазая, стройная девушка с маленькими, почти незаметными

серезжками в ушах оглядывала мой кабинет, как испуганный олененок. За ней стояли Пиртахия и покилая, полная женщина — Римма Берлин. Это Ия Курхули. В этом нет сомнения: стоит взглянуть на светлую прядку в черных, цвета воронова крыла, волосах.

— Знакомьтесь, это друзья Игоря, — сказал Пиртахия, широким жестом указывая на меня и начальника отдела.

— Как папа? Он жив? — Черные глаза Ии испуганно и вопросительно вглядывались поочередно в каждого из нас.

— Теперь ему лучше. Ничего страшного. Он хотел видеть вас, и хорошо, что вы приехала.

Римма Берлин не произнесла ни слова, пока мы все не уселись в машину. Только тогда она облегченно вздохнула и прошептала, ни к кому не обращаясь:

— Слава богу, Игорь жив. — И, закрыв глаза, положила голову на сиденье, отдавшись своим мыслям.

С первого же взгляда можно было понять, что эта приятная пожилая женщина догадалась: Пиртахия прилетел из Тбилиси в Ленинград не для того, чтобы исполнить волю заболевшего Игоря. Да и мы не очень-то походили на его друзей.

Начальник велел шоферу ехать в гостиницу «Палас».

* * *

В отделе нас уже ждали муж и жена Курхули. Начальник пригласил их к себе в кабинет. Успокоив взволнованных супругов какой-то шуткой, он сказал:

— Из Ленинграда пришло точное описание той девушки. — Он взглянул на Тамару Курхули, словно хотел ей сказать: «Не волнуйтесь, все в порядке».

— И что? — с трудом проговорил Ладо.

— Смуглая, черные волосы и, самое главное, — в волосах светлая прядка...

— Она! Она! — воскликнула Тамара и вскочила. Так стояла она, неподвижно и молча. Но силы покинули ее, и она снова упала в кресло.

Вызвали врача, привели женщину в чувство. Она бессмысленно улыбалась, не замечая катившихся по щекам слез.

— Сегодня же в Ленинград! Я не могу ждать. — Она посмотрела на мужа и снова обернулась к начальнику: — Извините, но я мать, вы должны понять меня.

Ладо, окончательно растерявшись, поглядывал то на жену, то на начальника, то на меня, не зная, что сказать.

— Никуда ехать не надо. Сегодня девочку привезут из Ленинграда. и если она действительно ваша дочь...

— Сегодня?! — Тамара привстала. Но начальник положил руку ей на плечо, усаживая на место. — В котором часу прилетает самолет из Ленинграда? — Он повернулся ко мне и подмигнул.

Я посмотрел на часы. Было без десяти четыре.

— В семь часов они должны быть здесь, — сказал я.

— Итак, в 7 часов. Думаю, вы узнаете ее, если она ваша дочь... — обратился начальник к Тамаре.

— И она узнает меня, обязательно узнает, пусть хоть сто лет пройдет. — Она взволнованными, дрожащими руками расстегнула ворот платья. С левой стороны на плече темнело родимое пятно, по величине и форме напоминавшее виноградный лист.

— Моя Ия каждый вечер перед сном целовала меня сюда. Ей нравилось это пятно. Она не может забыть это...



Наша машина стремительно пронеслась по подъему и остановилась возле небольшого дома на улице Чайковского.

Начальник отдела первым выскочил из машины и открыл дверцу, помогая спуститься Римме Берлин. Я подождал пока выйдет растерянная Ия.

Старшая из женщин уже знала все. Ии ничего не говорили, но, видимо, сердце подсказало ей, что предстоит что-то необычное.

Парадный подъезд дома, где живут супруги Курхули. Дверь отворила женщина с открытым, приятным лицом. Увидев Ию, она словно онемела, и не могла двинуться с места. Потом выглянул какой-то седоусый старик, пригласил в переднюю, взял наши пальто и повесил на вешалку. Он ни на секунду не отводил глаз от Ии, словно загипнотизированный.

Перешагнув порог квартиры, Ия замерла, оглядела потолок, пол, обои на стенах, как будто припоминала и не могла припомнить что-то. Посмотрела на нас: куда, мол, бы меня привели.

Увидев на стене свою детскую фотографию, внимательно вглядывалась в нее несколько минут. На фото была изображена маленькая смеющаяся девочка с букетом полевых цветов в руках.

Ия задумалась. Я понимал, что все окружающее казалось ей знакомым и виденным, но она не могла припомнить, когда видела все это. Так бывает, когда что-нибудь приснится.

Нахмурившись, подошла она к креслу, уселась в него, многозначительно глянула на Римму Берлин, которая не отходила от нее ни на шаг.

В комнату осторожно заглянул Теймураз, зашел, глядя все время на начальника отдела. Он, казалось, боялся посмотреть на Ию: вдруг это не она, что тогда? В его взгляде застыло выражение ожидания и страха.

Дверь снова отворилась. Показалась Тамара. Она обеими руками сжимала ручку двери, — казалось, если она отпустит ее, то немедленно упадет. Наконец женщина смогла взять себя в руки. Ее широко открытые глаза медленно отыскивали среди присутствующих девушку. Ия, как замороженная, поднялась ей навстречу — можно было подумать, что кто-то насилу, против воли тянул ее. На губах матери мелькнула улыбка. Потом Тамара воскликнула по-грузински:

— Ия, дочка! Ия!! — Она прижимала к себе голову девочки, словно боясь, чтобы кто-нибудь снова не отнял у нее дочь.

— Ия! Дочка! — Девушка медленно и удивленно повторила шепотом два слова. Вырвавшись из объятий Тамары, она подошла к своей детской фотографии, висевшей на стене. Снова внимательно рассмотрела ее, словно пытаясь найти ответ на какой-то мучительный вопрос.

— Ты — дочь моя, Ия, — повторяла Тамара, как будто стараясь уговорить девушку, рассеять ее сомнения. Подойдя к дочери, она растегнула пуговицу на воротнике платья и обнажила плечо. — Вот смотри! — Слезы хлынули из глаз женщины.

Увидев родимое пятно, похожее на красноватый виноградный лист, Ия облегченно, словно разрешив мучившую ее загадку, вскрикнула:

— Мама, мамочка! — Девушка упала на колени, обняв мать.

Я оглядел собравшихся.

Ладо стоял неподвижно, безуспешно пытаюсь сохранить суровое и деловое выражение лица.

Римма Берлин улыбалась счастливо и доволью.

Начальник отдела щурил глаза, но я успел заметить, что они у него подозрительно блестя.

ЭПИЛОГ



Выдающийся памятник грузинского искусства — икона Саванели висит на старом месте в Сионском соборе, на столбе в северо-восточном притворе.

* * *

Редчайший бриллиант — «Королева утренней зари» отныне не прячется пугливо от человеческих глаз в императорских сокровищницах и не блестит грозным светом на эфесах сабель знаменитых военачальников.

Этот драгоценный камень, первый среди первых, будет сотни лет поражать взоры многих поколений. И никогда больше ради него не прольется человеческая кровь.

* * *

Ия Курхули — ей теперь уже за сорок — давно уже стала счастливой женой и матерью. В память о далеком прошлом у нее осталось прежнее имя — Люсана — и маленькие золотые сережки в ушах.

* * *

Раиса? Шесть десятков лет, среди которых были годы трудные и бурные, наложили на нее отпечаток. Но она по-прежнему ходит, гордо выпрямившись и высоко неся голову, довольная своей судьбой.

* * *

Игорь Таманов сам свел свои счета с жизнью, не дожидаясь приговора. В тот день, когда его Люсана вновь обрела родителей, он покончил с собой в своей камере.



САЯТ-НОВА

ПОВЕРЬ МНЕ...

Поверь мне, — знаю, лучшим, без изъянов
Железо неказистое слывет.
Украшь чеканкой блюдо деревянное —
Оно все ж деревянным прослывет.

Будь прост в стихах. Веди за словом слово...
Пусть тот хитер, кто вечно пустословит,
Его неправду слух всегда уловит —
Не всякий злак целебным прослывет.

Парчу износишь — ткань купи суровую,
Век береги, гордись такой обновой,
В ней лала блеск красу откроет новую,
И в золоте стекло стеклом слывет.

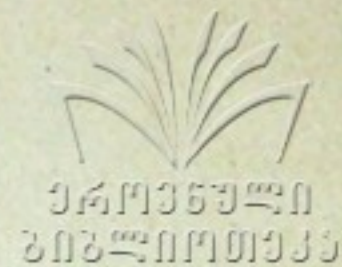
Воспеть свой род иной спешит кичливо.
Лучина я! — тогда промолвит ива.
Я сазандаром назовусь счастливым —
Им Арутюн Саят-Нова слывет!

ЛЮБИМОЙ

Позови же! Даже в малом искренность твою увижу,
Изумрудом стань, алмазом, лалом стань — тебя увижу,
Я боюсь — меня поймашь! Пусть! Зато тебя увижу...
Соловьем хочу быть. В алой розе я тебя увижу...

Не прогневаешься, верю. Коль подскажет сердце — выйди,
Расстелю ковры и двери распахну навстречу — выйди,
Чтоб никто тебя не видел, плат набрось узорный — выйди,
Слово есть одно. Его я по-грузински молвлю — выйди!
Сердце правду мне сказало — я сейчас тебя увижу!

Вышла ты. Взглянул, увидел. Все смотрю — не налюбуюсь,
Косы длинные, тугие. Распусти их. Полюбуюсь.
Стройный стан. Кем он изваян? Чьей рукой? Не налюбуюсь.
На груди кораллов нитка. Блеску их не налюбуюсь.
Будь жемчужиною малой — все равно тебя увижу.



Птице кто силки расставил? В западню сама попала.
Уходи! — мне повелела, но к кому сама попала?
Ожерелье золотое прячешь ты не как попало,
Обернув в парчу и атлас, бережешь, чтоб не пропало.
Не скрывай от глаз, меняла! Дай взглянуть, и я увижу!

Час весенний наступает. В комнате сидеть не время.
Все в цвету. Средь роз, фиалок быть бы нам сейчас все время.
Зреют ягоды черешни. Садовода нынче время.
В полдень солнце над аллеей повисает в это время.
Надо мной лозою встала. Наклонись ко мне — увижу.

Перевод с грузинского Т. Степанова

Иосиф ГРИШАШВИЛИ,
народный поэт Грузии

Саят-Нова

Более двух столетий отделяют эпоху Саят-Новы от нашей действительности, но высокие гуманистические идеи, которыми пронизана проникновенная лирика великого ашуга, делают его нашим современником.

Саят-Нова!

Двести пятьдесят лет это имя с благоговением, любовью и уважением произносят и армяне, и грузины, и азербайджанцы, ибо оно является синонимом дружбы, знаменем интернационализма и братства народов Закавказья.

Саят-Нова!

С укреплением вековых уз дружбы и братства наших народов, с победой ленинской национальной политики имя поэта, его замечательное творчество приобрели еще большее значение. Повсеместно и неослабно растет интерес к изучению его чарующей поэзии. Песни Саят-Новы, «победоносно шествующие из тьмы веков», стали достоянием широких масс читателей, и 250-летие со дня рождения поэта отмечается в 1963 году по решению Всемирного Совета Мира как дата огромного интернационального значения.

Поэзия Саят-Новы неразрывно связана с историческими судьбами народов Закавказья. Она родилась и расправила крылья в столице Грузии. В ней выразились вековые чаяния армянского, грузинского и азербайджанского наро-

дов. Саят-Нова одинаково любим всеми народами Закавказья, ибо он создавал и пел свои бессмертные песни на армянском, грузинском, азербайджанском и даже персидском языках и всеми этими языками владел в совершенстве.

Во времена Саят-Новы в Закавказье широкое распространение получила поэзия ашугов — народных певцов.

«Ашуг» — арабское слово, дословно означающее «влюбленный». Ашугом назывался тот, кто сочинял и сам же исполнял свои произведения, аккомпанируя себе на чанури, таре, каманче, ствири, бубне и других народных инструментах. Короче говоря, ашуг — это поэт-импровизатор.

В XVII и XVIII веках ашуги в Закавказье пользовались большим уважением. Без них не обходился ни один пир, ни один праздник, и за пиршественным столом им стводилось почетное место. Ашуги принимали активное участие в жизни своего края.

XVII и XVIII века были одним из самых тяжелых периодов в истории Грузии и всего Закавказья. Многолетняя борьба между Ираном и Турцией за господство на Ближнем Востоке насильственно втягивала в свою орбиту и Кавказ, часто превращавшийся в арену кровопролитных сражений. Чтобы иметь надежный фланг, каждая из воюющих стран, прежде чем вступить в



С а я т - Н о в а. Ладо Гудиашвили, народный художник Грузии

решающее сражение, пыталась подчинить своему влиянию Кавказ, который, однако, все явственнее стремился к сближению со своим могущественным соседом — с Россией, что отнюдь не устраивало ни Турцию, ни Иран.

Карталиния и Кахетия решительно противодействовали коварной захватнической политике Ирана и Турции, в результате чего обе подвергались разорению и опустошению. В ту пору Армения и некоторые провинции Азербайджана уже были лишены независимости и находились под пятой иноземных поработителей, но симпатии их лучших сынов были на стороне тех, кто оказывал отчаянное сопротивление захватчикам — шаху Аббасу I, шаху Тамазу и другим.

Именно в эту тяжелую пору в Тбилиси собралось со всего края много ашугов, расцвела их поэзия. Но было бы ошибочно думать, что песни ашугов служили для увеселения знати, богатей. Вовсе нет! Ашуги принимали непосредственное участие в походах царя Ираклия против иноземных захватчиков. Сам Саят-Нова участвовал в них и шел в первых рядах воинов царя, чтобы песнями своими вдохновить их на ратные подвиги.

Среди ашугов вылающее место занимал в XVII веке Стефаноз, а потом

Достия, которого Саят-Нова часто вспоминает в своих армянских стихах. На недостижимую до сего времени высоту поднял поэзию ашугов сам Саят-Нова.

Безусловно прав был Валерий Брюсов, впервые познакомивший русского читателя со стихами Саят-Новы, когда утверждал, что то, что сделали предшественники Саят-Новы, кажется ничтожным перед ореолом славы самого Саят-Новы.

Саят-Нова первым показал, какая великая сила таится в голосе народного певца, который призван своими песнями неустанно пробуждать в народе лучшие чувства и стремления.

Пользуясь некоторой независимостью, ашуги смело говорили о своеволии богачей и страданиях простого народа, страстно обличали зло и пороки.

«Простолюдин, а не князь, — другого званья не хочу», — с гордостью говорит в одном из своих стихотворений Саят-Нова. В другом стихотворении он называет себя «слугой народа».

Саят-Нова был первым ашугом, выразившим в своей поэзии настроения, чувства и переживания городских низов. Это было то специфически новое, что утвердил он в литературе народов Закавказья, в частности, в грузинской литературе.

Наиболее распространенной формой стиха в поэзии ашугов считалось «мухамбази». Поэтическая строфа «мухамбази» состоит из пяти строк; первые четыре строки рифмуются друг с другом, а пятая рифмуется с каждой пятой строкой последующих строф.

Форма «мухамбази» впервые была введена в грузинскую литературу Саят-Новой.

В те времена в селах и городах ашуги часто состязались между собой в искусстве поэтической импровизации. Состязания эти проходили чрезвычайно интересно. Один ашуг пел, аккомпанируя себе на своем инструменте, и в песне задавал противнику какой-нибудь вопрос, а тот отвечал ему также песней. Эти вопросы и ответы произносились экспромтом. Когда ашуг был уже не в состоянии задать вопрос или ответить на него, он считался побежденным.

В этих поэтических прениях Саят-Нова был непобедим.

Существует предание о том, как один выдающийся персидский ашуг, до которого дошла молва о непревзойденном искусстве Саят-Новы, специально прибыл в Тбилиси, чтобы помериться с ним своим талантом. В одном из восточных районов Тбилиси, в Харпухи, близ серных бань, он остановил незнакомого человека, оказавшегося Саят-Новой, и спросил:

— Не скажете ли, любезный друг, где я могу видеть Саят-Нову?

Саят-Нова, должно быть, догадался, что это чужеземный ашуг, который приехал состязаться с ним, и ответил ему так:

— Биль-манам! Гир-манам! Тан-манам!

Эти азербайджанские слова имеют, в зависимости от расстановки ударений и деления на слоги, два противоположных значения: «Не знаю, не видел, не знаком» и «Знай, это — я сам», «Смотри, это — я сам», «Узнай, это — я сам».

Персидский ашуг не разобрался в чародейской игре слов, не понял ее и, когда потом ему представили Саят-Нову, пришел в полное замешательство.

Величайший представитель поэзии ашугов, Саят-Нова (псевдоним Арутина Саядяна) родился в 1712 году в Тбилиси, в семье армянина-ремесленника, выходца из Халеба (Алеппо). Обосновавшись в Тбилиси, отец его женился на местной жительнице. Вскоре у них родился сын. Вот все, что мы знаем о семье Саят-Новы. Сам поэт пишет в одном из армянских стихотворений: «Мой властелин и мой покровитель — это царь Ираклий». В другом стихотворении на азербайджанском языке он так представляет себя читателям: «Моя родина — Тбилиси, сердце Грузии! Отец мой из Халеба, а мать из Авлабара».

Когда Арутин подрос, родители определили его учеником к ткачу. Одновременно он стал изучать грузинскую грамоту у монахов в одной из монастырских церквей.

Мальчик проявлял трезвый ум, легко осваивал ремесло и вникал во все подробности дела. Он обладал большими способностями, был любознателен и наблюдателен. Сохранилось предание, будто он усовершенствовал ткацкий станок. Но мальчик все-таки не стал ткачом. В свободные от работы часы он учился играть на каманче и чонгури или убегал слушать народных певцов. Увлечение это было настолько сильным, что вскоре он сам стал выступать с песнями и импровизацией и обрел признание. В семье ашугов появилось новое имя — Саят-Нова, что означает — владыка музыки, царь песнопений.

До последней минуты своей жизни Саят-Нова считал своим главным призванием служение народу и решительно отвергал все, что противоречило его моральному кодексу. В одной из песен Саят-Новы есть такие строки:

Оставь меня! Хитрить, платить бесчестью
дань я не хочу!
Я униженья не хочу, в негах валиться
не хочу.
Исподтишка передавать чужую брань я
не хочу.

И сколько бы ни твердили мне:

«Двуличным стань!» — я не хочу

Я простолюдин, а не князь, другого
званья не хочу!

(Перевод В. Погаповой)

Известный литературовед и общественный деятель З. Чичинадзе писал: «Саят-Нова сочинил стихотворение о крепостничестве, и оно распространилось по всей Грузии. Многие князья сочли это за обиду и пожаловались царю Ираклию II, прося его запретить Саят-Нове писать. Однако Ираклий оставил их просьбу без внимания».

В 1795 году, когда распространились слухи о готовившемся наступлении Ага-Магомет-хана на Тбилиси, Саят-Нова отправил своих детей на Северный Кавказ. Старший сын его Меликсет захватил с собой тетрадь со стихами отца. Только в 1850 году внук Саят-Новы Серапион доставил эту тетрадь в Тбилиси. В ней содержится 114 азербайджанских и 46 армянских стихотворений. Армянские стихи написаны в грузинской транскрипции.

Поэт Я. Полонский посвятил этой тетради взволнованные строки. Он с болью в сердце писал в 1851 году в газете «Кавказ» о том, что если бы судьба не сберегла эту маленькую тетрадь, то навсегда исчезло бы из нашей памяти имя Саят-Новы. На полях одной из страниц мы читаем приписку переписчика на грузинском языке: «Все эти песни сказаны Саят-Но-



Саят-Нова. Геворг Григорян

вой, и умоляю читателей помянуть добром сказителя этих песен и переписчика их Иована Пантелашвили, закончившего сей труд 1 мая 1765 года».

Сохранилась еще одна рукописная тетрадь грузинских стихов Саят-Новы. Ее сберег царевич Теймураз, внук Ираклия II. Она хранилась в Петербурге. На первой странице тетради написано: «Эта книга принадлежит внуку царя Грузии Теймуразу. Эти стихи переписал сын Саят-Новы Иоани в память своего отца». В конце тетради имеется приписка самого Иоанна о том, что записал он эти стихи уже после смерти отца по памяти.

Многие годы провел Саят-Нова при дворе Ираклия II, слывшего большим ценителем искусств, и был его любимым ашугом. Эти годы были самой счастливой порой в жизни поэта.

Яркий поэтический дар сочетался у Саят-Новы с незаурядными музыкальными дарностями. Он обладал тонким музыкальным слухом и превосходным голосом, отлично играл на многих восточных инструментах.

Не случайно так проникновенно воспел Саят-Нова каманчу — свой любимый инструмент, тонко передававший все движения его души.

Из всех людьми хваленных лир полней
звучишь ты, каманча!
Кто низок, не иди на пир: пред ним
молчишь ты, каманча!
Но к высшему стремись: весь мир, всех
покоришь ты, каманча!
Тебя не уступлю я: мне — принадлежишь
ты, каманча!

(Перевод В. Брюсова)

Взволнованная лирика Саят-Новы снискала ему поистине легендарную популярность. Вот что говорит сам поэт о силе своих стихов:

Не всем мой ключ гремучий пить:
особый вкус ручьев моих!
Не всем мои писанья чтить: особый смысл
у слов моих!
Не верь, меня легко свалить! Гранитна
твердь основ моих!

(Перевод В. Брюсова)

Эти знаменитые строки, ставшие его эпитафией (Саят-Нова похоронен в Тбилиси), отнюдь не означали, что он был поэтом избранных. Наоборот, его песнями заслушивались простые люди, в них они находили свои мысли и чувства, свои радости и печали.

Слава о Саят-Нове распространилась быстро, и он стал общим любимцем тбилисских ремесленников. Позже он занимает должность ашуга-сазандара. Сам Саят-Нова так рекомендует себя читателям: «Я сазандар грузинского ца-

ря по имени Арутин, прозванный Саят-Новой».

Исключительную благосклонность проявлял Ираклий II к поэту, и Саят-Нова посвятил ему много проникновенных лирических стихов. Правда, на них есть некоторый налет традиционных восхвалений, но поэт-патриот искренне восхищался большим государственным умом Ираклия, его полководческим талантом. Саят-Нова называет Ираклия «душой и сердцем Грузии», «духовным отцом», стоящим с обнаженным мечом в руке на страже мирного труда своих подданных.

Мы не знаем, как долго оставался Саят-Нова придворным певцом, но в 1765 году его уже нет при царском дворе. По-видимому, он стал жертвой клеветы, которая навлекла на него царский гнев. Это было делом рук знати, князей, которые не смогли смириться с тем, что представитель «низших» слоев населения стал любимцем помазанника божьего из династии Багратидов.

Очень тяжело переживает поэт опалу. В новых стихах он уже не называет себя «сазандаром грузинского царя». Оклеветанный поэт, отвергнутый Ираклием, сразу понял, что враги просто свели с ним старые счеты, добились того, чего жаждали. Он яростно бичует клеветников, но в его сердце нет злобы.

Злобным быть, как иной, не хочу совсем!
Пышной жизни мирской не хочу совсем!
Мстить вам речью дурной не хочу совсем!
Изменить? — я ведь твой — не хочу совсем!

(Перевод К. Липскерова)

Саят-Нова обращается с жалобой к самому Ираклию и просит у него справедливости. Но Ираклий, видимо, не внял жалобам Саят-Новы, и враги ашуга торжествовали. Саят-Нова замкнулся в своей горе.

«Я не выдержу этой скорби!» — вырывается у поэта. Он чувствует себя на той грани, когда человек теряет веру в благородство человеческой души. Поэт иронически поучает себя:

Царил султаном я — дани утратил.
Торговцем плавал я — ткани утратил.
Тебя — блеск утренней рани — утратил

И далее:

Не твой срок миновал, о, Саят-Нова!
Что твой стон: пропал, о, Саят-Нова!
Враг твой заликовал, о, Саят-Нова!

(Перевод К. Липскерова)

Надо отметить, что в поэзии Саят-Новы мотивы одиночества, печали и самоотречения имели глубокий социальный смысл. Они были обусловлены не столько личными невзгодами, сколько положением того общественного слоя, к

которому принадлежал сам поэт. Он гневно осуждает феодальное общество, выражая протест против его пороков.

В это время поэта постигает большая горе — умерла его жена, и обреченный на полное одиночество, Саят-Нова решает на роковой шаг: он уходит в монастырь и живет отшельником в сырых стенах Ахпатской обители.

Это было в 1770 году. Поэт попал в чуждую ему монастырскую среду. И разве мог он, столь любящий земные радости, навсегда погрузиться в мир религиозно-мистических размышлений? Вот какое ценное свидетельство находим мы в повести Иоанна Багратиони «Калмасоба». Герой этой повести иподиакон Иоанн Хелашвили посетил Ахпатский монастырь, и вдруг его слух поразили ашугские песни. Иподиакон узнал, что это Саят-Нова. Ашуг-монах

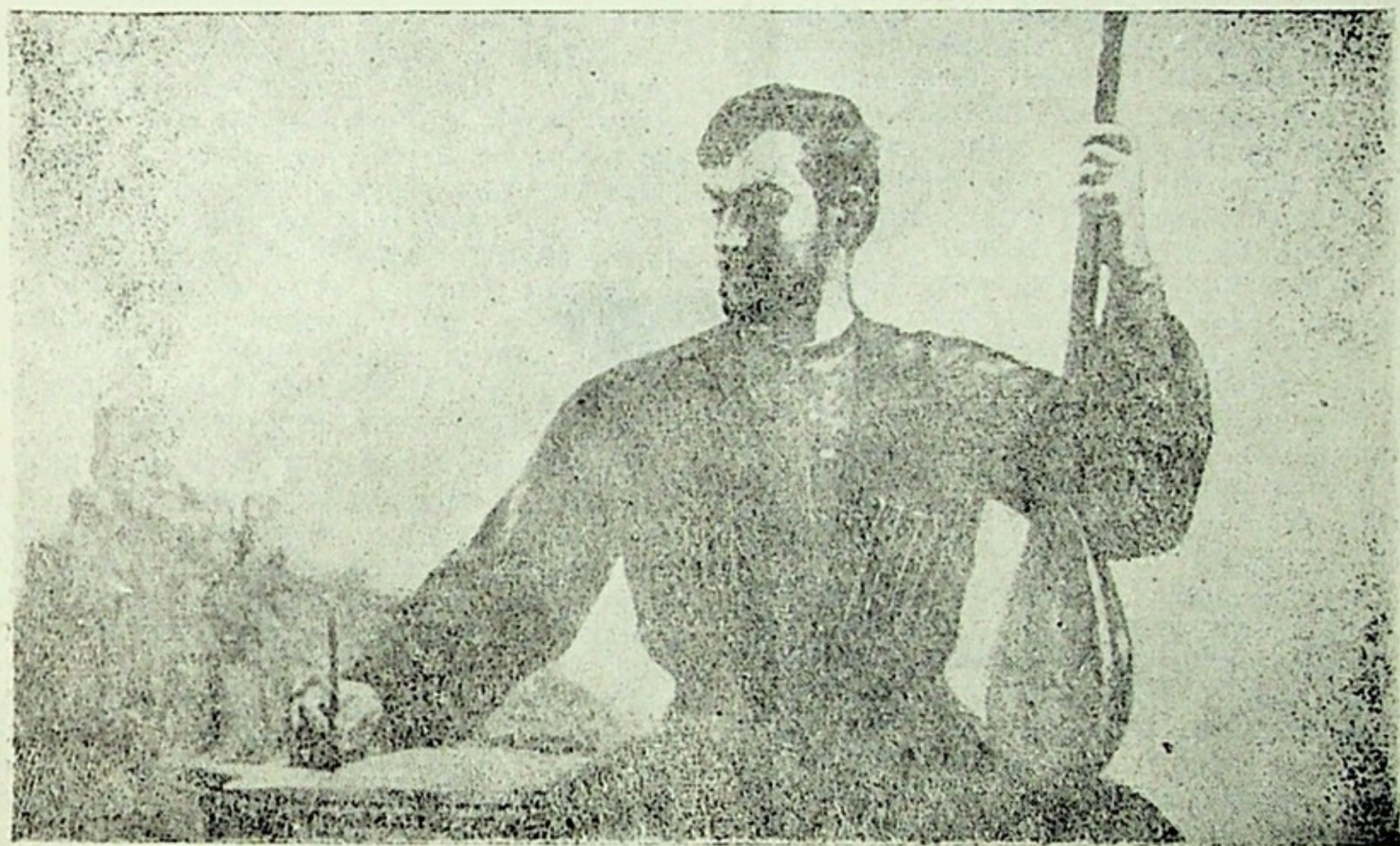
струны от чонгури. И это дает ему право не отказаться от игры на освященных струнах.

Этот эпизод еще более убеждает в том, что Саят-Нова не мирился со своим положением монаха, что в его груди продолжало биться пылкое сердце ашуга. Все это вызывало у армянского высшего духовенства негодование и озлобленность.

Далеким от церковно-догматического мышления, чуждым клерикализму, Саят-Нова очень скоро раскаялся в своем роковом шаге. С горечью он писал:

Был голубем, а стал я перепелкой!
Был рисом я, а стал овсом, — что толку?
Обет я дал, стал чернецом, что толку?
Благодаря моей несчастной доле.

(Перевод В. Потаповой)



Саят-Нова. Алексей Вепхадзе

наигрывал на чонгури и напевал им же сложенные мухамбази, в которых с горькой иронией высмеивал самого себя, свое положение:

Пронащая головушка! Доколе
Посмешищем служить в мирской юдоли?
Куда ни сунусь — расшибусь до боли.
Достоин я глумленья поневоле.
Кого винить мне в этом, — не пойму?
Рассудок мой причиною всему.

(Перевод В. Потаповой)

Изумленный иподиакон спрашивает Саят-Нову, как он ухитряется в монастырской обители играть на чонгури и петь мирские песни. Саят-Нова отвечает, что когда его посвящали в монахи, случайно за пазухой у него оказались

Не желая оставаться в монастыре, поэт обращается к своему бывшему покровителю с просьбой «взять Саят-Нову обратно к себе...». Но уйти из монастыря не так легко. В ту эпоху армянское духовенство пользовалось большим влиянием. Вряд ли оно простило бы ашугу нарушение церковных правил. О каждом шаге ашуга, ставшего монахом, церковники доносили армянскому католикосу.

В бытность свою монахом, Саят-Нова, как отмечалось, продолжал творить стихи и песни. По сохранившимся преданиям, поэт тайно покидал монастырские своды и приезжал в Тбилиси, где пел свои песни. Иногда ему удавалось даже в монастыре собирать духовных

лиц и очаровывать их своим чудесным задушевым голосом.

Первый издатель его стихов Г. Ахвердян передает один весьма любопытный факт: однажды, будучи в Ахпате, Саят-Нова узнал о том, что в Тбилиси прибыл из Ирана прославленный ашуг, который бросил вызов всем местным ашугам. Зная, что пришелец известен у себя на родине как сильнейший из ашугов, Саят-Нова встревожился за честь родного Тбилиси. Он тайно покинул Ахпати, несмотря на сильный снегопад и метель, отправился в Тбилиси, чтобы участвовать в состязании ашугов. Узнав о «бегстве» монаха, служители монастыря бросились в погоню за ним. Когда они настигли Саят-Нову, он уже одержал победу в состязании с чужеземным ашугом.

Видимо, католикос Гукас не решался наказать монаха-ослушника и захотел сначала заручиться поддержкой Ираклия, но царь заступился за своего бывшего сазандара. Больше того, по настоянию грузинского царя католикос возвел Саят-Нову в сан епископа Ахпатской епархии, которой были подчинены все армянские церкви Карталинии и Кахетии. Это вызвало бурю негодования среди клерикалов. Сколько волнения и горя пришлось пережить прославленному поэту! Его преследовали, намеревались лишить сана, не раз проклинали с амвона, но за него заступались царь Ираклий и царевич Георгий. Очень часто ходатайствовал за него и грузинский католикос Антоний I.

Поэту Ованесу Туманяну посчастливилось обнаружить в 1913 году в архиве Эчмиадзинского католикоса переписку, которая велась между Ираклием II и католикосом Гукасом. Из этой переписки явствует, что «любимый саз» поэта, «духовный отец» Ираклий покровительствовал своему верному ашугу.

В 1795 году, когда Тбилиси грозило нашествием полчищ Ага-Магомет-хана, престарелый ашуг не покинул родного города и обосновался в армянской кафедральной церкви св. Георгия. По всему видно, что он остался в родном Тбилиси с той целью, чтобы в час тяжелого испытания быть вместе с горожанами, с которыми он всегда делил и радости и невзгоды.

Вскоре Тбилиси оказался во власти персидских захватчиков. Враги бесчинствовали и уничтожали все вокруг, грабили и убивали население. Саят-Нову они схватили в церкви с другими молящимися. Старого ашуга вывели из храма и потребовали, чтобы он отрекся от своей веры.

Саят-Нова ответил насильникам персидскими стихами:

Чих-манам клисадан,
Дон-манам исадан!
(«Не изменю своему богу,
Не покчну я храм святой»).



После этого 83-летний старец там же, на пороге храма, был обезглавлен врагами.

Саят-Нова отразил в своих песнях и стихах характерные черты эпохи.

Великий поэт-гуманист, раздумывая о судьбах человека, его положении в жизни, большое место уделял в своих творениях социальным вопросам, воспевал добро и осуждал зло, противопоставлял просвещение невежеству.

Саят-Нова воспевал дружбу народов, которой он всегда дорожил и которую очень высоко ставил. Его творчество сыграло важную роль в борьбе народов Закавказья против иноземных захватчиков.

Звучность, музыкальность, яркая образность стихов Саят-Новы привлекали слушателей, прокладывали путь к сердцу простого люда. Как отметил грузинский историк Платон Иоселиани, они написаны «простым разговорным языком». Песни Саят-Новы были доступны и понятны всем его современникам. Созданные для тбилисских ремесленников, для простого люда, они распевались и в высшем обществе, ибо покорялись своей музыкальностью.

Радостным мироощущением, полнотой восприятия жизни и вместе с тем глубокой горечью проникнута поэзия Саят-Новы. Сам выходец из простого народа, он никогда не оставался равнодушным к тяжелой доле простых людей.

Саят-Нова выступал новатором стиха. Он, как это отмечает Валерий Брюсов, «воспринял манеру своих предшественников, но придал ей чекан совершенства, и вдруг стало ясно, какое богатство, какая роскошь скрывается в той песне ашугов, к которой многие относились слишком поверхностно». Валерий Брюсов указывает на присутствие песням Саят-Новы ассонансы, аллитерации, повторы и внутренние рифмы и далее пишет: «Он один из высших мастеров «звукописи», каких знала мировая поэзия. Вместе с тем он — и дивный эвритмист, умеющий находить новизну напева в общеупотребительных размерах... У Саят-Новы все оживлено и одухотворено силой подлинного поэтического гения».

Саят-Нова первый ввел песенное творчество ашугов Кавказа в русло национального развития, и это сыграло важную роль в развитии и сближении национальных культур народов Закавказья.

Певец любви и радости, Саят-Нова

воспевал лучшие свойства человека — искренность и смелость, ум и высокую мораль. Все эти черты человеческого характера воспеты им в замечательных мухамбазах.

Эту форму стиха впоследствии развили и подняли на высокую ступень грузинские поэты-романтики и прежде всего Александр Чавчавадзе и Григол Орбелиани. Ей отдали дань даже грузинские шестидесятники, в частности, Акакий Церетели, которому принадлежит ряд превосходных мухамбазов. Эта форма стиха и по сей день живет среди народных певцов Тбилиси, лучшим представителем которых в наше время был Иэтим Гурджи, преемник **Саят-Новы**.

Саят-Нова справедливо признан непревзойденным певцом любви. Без любви поэт не мыслит себе жизни; он

вкладывает в это понятие самые благородные, самые возвышенные человеческие чувства. Жизнеутверждающая поэзия Саят-Новы говорит о его страстной влюбленности в жизнь, о богатстве человеческой души, о красоте окружающего мира. Поэт не просто созерцает и любуется этими красотами. Своим творчеством он утверждает прекрасное, активно борется против зла, невежества и социальной несправедливости.

Эту небольшую статью о жизни и творчестве Саят-Новы хочется закончить меткими словами Валерия Яковлевича Брюсова: «...величественный, многообразный, по-тютчевски чуткий и как Мюссе страстный, один из тех первоклассных поэтов, которые силой своего гения уже перестают быть достоянием отдельного народа, но становятся любимцами всего человечества».

Перевод с грузинского Б. Абуладзе



Леван МАЧАИДЗЕ

А ш у г

Р А С С К А З

Луна казалась огромной. Круглая и яркая, она стороной обходила гору. По земле тянулись причудливые тени. Легкий ветерок был особенно приятен после дневного зноя. Он о чем-то шептался с деревьями, кустами и, как старый друг, ласкал древние стены монастыря.

...В маленькой церквушке монастыря кончилась вечерняя служба. Многоголосый хор умолк. Монахи, словно пробудившись, застучали коваными башмаками по каменным плитам двора, не спеша расходясь по кельям.

По тускло освещенному коридору монастыря медленно, бесшумно продвигались два молодых монаха. Только что в церкви они неистово молились, стараясь замолить свои мирские грехи. Свернув налево, юноши остановились. Один из них снял башмаки, чтобы не производить лишнего шума, и двинулся дальше. Второй последовал его примеру. Дойдя до крайней двери, очень узкой и очень низкой, в которую можно было протиснуться лишь согнувшись дугой, юноши замерли. В небольшом глаз-

ке, прорезанном в двери кельи, желтело пламя свечи.

— Опять молится, — шепнул один.

— С тех пор, как он узнал, что персы идут на Тбилиси, не принимает даже пищи, — тихо сказал другой. — Пьет воду и молит бога о спасении столицы.

— Настоятель тревожится — не случилось бы с ним чего: стар уж и слаб...

Старца, что денно и ночью возносил молитвы к небу, знал весь Восток. Он прошел от Сирии до Индии, от Бухары до Тбилиси, от Тбилиси до Еревана и Баку, даря народу свои песни, свою мудрость, свою любовь.

Цари считали за честь пожать ему руку, дворцовая знать глядела на него с опаской: не осмеел бы ашуг, острый на язык; простой народ ловил каждое его слово.

Тбилиси, разноязыкий, шумный, распевал его песни. Они раздавались в чайханах, что лепились одна к другой на Майдане, в прохладных, разбросанных по всему городу винных погребах, в тесных авлабарских

духанах — ашуг слагал свои песни по-грузински, армянски, азербайджански и был одинаково дорог грузинам, армянам и азербайджанцам. Он был сыном своего города. Он мыслил стихами и говорил стихами, и никогда не знал, о чем будет петь сегодня, — песни ему подсказывало сердце. Желающих послушать ашуга было великое множество.

Много исходил он дорог, многое видел, многое знал. Его советом или предостережением, высказанным в песне, дорожил каждый.

А когда пришла старость, когда ослабли ноги и голос потерял свежесть, певец решил уйти от дел мирских и поселился в одном из мцхетских монастырей.

Монахи редко спускались с горы, на вершине которой стоял монастырь, и только два дня назад сторож, изредка гонявший осла в долину за солью и мукой, принес страшную весть: сердцу Грузии грозит опасность — черной тучей надвигаются персы.

Задымили сторожевые башни, город оцетинился саблями и стрелами. В монастыре поднялась тревога. Старики беспрестанно молились, а один молодой и пылкий монах, бросившись в ноги настоятелю, выпросил у него разрешение уйти к защитникам города. Сторожа погнало за вестями. А старый певец молился, молился страстно и самозабвенно. Днем в небольшое круглое отверстие в двери можно было увидеть, как шевелятся сухие губы певца, шепча слова молитвы, и руки в немом отчаянии вскидываются к небу.

Сторож пришел с первыми лучами солнца и долго не мог выговорить ни слова. И по тому, как он молчал, все поняли — враг у стен города.

Понял это и старый ашуг. И когда два молодых монаха, влекомые беспокойством, снова заглянули в келью, его там уже не было.

Всю ночь добирался старец до защитников города. Его узнавали, перед ним расступались, с почтением обнажая головы. Узнал его и сам царь.

— Нет, старец, — сказал он ашугу, — ты еще послужишь нашему народу, ты споешь еще много веселых и грустных песен! Уйди, ибо с восходом солнца начнется жестокая битва и землю обогряют потоки крови.

Но певец, обнажив саблю, приблизился к царю и, как равный равному, сказал:

— О царь! Я родился и жил в этом городе. Это моя родина. Здесь я жил. Здесь и умру, когда пробьет мой смертный час.

Взошло солнце, и начался бой. Все смешалось. Пронзительные крики персов, стоны раненых, лязг оружия и ржание коней — слились в единый неистовый, неумолчный рев битвы.

Монах переходил от одного отряда к другому, подбадривал молодых воинов. Враги наступали. Их было множество. Как саранча, шли они, зажимая в кольцо защитников города.

...Садилось солнце.

Утих шум битвы.

Раненый царь увидел, как воины с непокрытыми головами бережно внесли старого ашуга во двор церкви св. Георгия. В руке его намертво зажата была сабля.

Там его и похоронили. Народ забыл имя монаха, но запомнил навеки имя певца — Саят-Нова.

С тех пор прошли долгие годы и многое изменилось в мире. Не изменилось одно: на могилу певца приходили и приходят люди разной национальности, чтобы почтить память того, кто своим большим сердцем, умом и талантом навеки сроднил грузин, армян и азербайджанцев.



Паата ГУГУШВИЛИ

Эволюция общественно-политических взглядов Нико Николадзе

В морозный осенний день 1861 года старенький военный корабль лениво рассекал тяжелые воды Невы и Финского залива. Из казематов Петропавловской крепости в Кронштадт перевозили «бунтовщиков» — студентов Петербургского университета, и среди них — 18-летнего юношу Нико Николадзе.

Петербургский университет с революционно-демократическими выступлениями оппозиционно настроенной молодежи был центром прогрессивно мыслящей интеллигенции России того времени. Именно здесь получил Н. Николадзе первое боевое крещение для активного участия в общественно-политической жизни страны.

Вот как характеризуют К. Маркс и Ф. Энгельс значение тех выступлений и демонстраций петербургского студенчества, в которых вместе со студентами-грузинами активное участие принимал Н. Николадзе: аресты и ссылки студентов «толкнули молодежь в тайные общества...». Часть этой оппозиционной молодежи «до такой степени прониклась социалистическими идеями, что она мечтала уже о немедленном их осуществлении... Теоретиком этого движения был Чернышевский...».

В опубликованной «Колоколом» в 1861 году статье, посвященной волнениям петербургского студенчества, Герцен на вопрос — куда должна была пойти эта молодежь, перед которой «закрыли двери науки», — отвечает:

«В народ! К народу! — вот ваше место; изгнанники науки, покажите этим Бистромам, что из вас выйдут не подъячие, а воины, но не безродные наемники, а воины народа русского»¹.

Находясь в казематах Петропавловской крепости, Н. Николадзе с восторгом обнаруживает свою фамилию в передовой статье герценовского «Колокола» в числе лиц, пробуждающих Россию.

В своих воспоминаниях, написанных на чужбине в 1923 году, Н. Николадзе пишет: «Мы были на седьмом небе от радости: представьте себе, ведь это в нашем лице пробуждалась впервые необъятная Россия. Студенческие волнения описывались здесь как начало новой эры в истории Российского государства... и как могло сердце не наполниться гордостью и в груди не загореться желание принять участие и в грядущей героической борьбе».

Представители интеллигенции «инородцев» (так называли представителей нерусских национальностей в царской России), выразившие революционно-демократические, социалистические идеи, мощным потоком вливались в национально-освободительное движение народов окраин царской России против колониальной эксплуатации и великодержавного гнета.

В 1864 — 1868 гг. Николадзе живет в университетских центрах Западной

¹ «Колокол», 1861 г., № 110.

Европы. В этот период он настолько увлекается политэкономией, что пишет труд «Записки по политической экономии», в котором разбираются преимущественно социал-утопистские доктрины. В 1866 году Н. Николадзе писал по этому поводу К. Лордкипанидзе: «Я изложил системы Фурье и Сен-Симона, теперь мне остаются: Томас Мор, Кампанелла, Кабе, затем Луи Блан и другие». А в 1864 году, то есть за два года до этого, он сообщал тому же К. Лордкипанидзе: «Мой ум работает здесь постоянно в новом направлении, и очень часто то, что вчера казалось мне доказанным и нерушимым, сегодня рушится от одного дуновения... я представлял себе французский социализм более совершенным, он и поистине величественен, но в нем еще очень многое требует доработки».

Однако увлечение западноевропейскими утопиями не помешало Н. Николадзе по-прежнему здраво относиться к вопросу о русско-грузинских отношениях и к русским просветителям.¹

Еще в 1865 году в своем известном труде об отмене крепостного права в Грузии Н. Николадзе, касаясь вопроса будущего социалистического общества в Западной Европе и в России, предсказывал: «Идеал лучшего государственного и общественного устройства, по нашему мнению, скорее всего достигим для России... Россия придет к желанной цели гораздо раньше, чем современное европейское (читай — социалистическое — П. Г.) движение. По этим соображениям, мы находим, что, связав свою судьбу даже с современной Россией, Грузия скорее доберется до возможно лучшего устройства своего положения, чем находясь в союзе или под покровительством (мы не говорим уже о владычестве) какой бы то ни было европейской нации».

Следует отметить, что в предисловии (без подписи) к первому тому сочинений Н. Чернышевского Н. Николадзе дает весьма высокую оценку научно-литературной и общественно-публицистической деятельности последнего. Он отмечает, что «Чернышевский с первых же шагов своих в литературе задался целью изменить взгляды и понятия общества», что «Чернышевский по необходимости должен был начать переработку понятий, господствовавших в обществе, с изменения чисто литературных, эстетических понятий и только мимоходом замечал, как много недостает нашим ученым для того, чтобы быть действительными двигателями науки».

¹ В этом отношении большой интерес представляют опубликованные под ред. В. Шадури «Письма русских общественно-литературных деятелей к Н. Я. Николадзе», 1949 г., Тбилиси.

Отмечая большое историческое значение трудов Чернышевского, Н. Николадзе считает, что его сочинения «помогут другим в их усилиях пробудить общественное самосознание и самодетельность».

В этом же предисловии Н. Николадзе «задевает» группу Герцена, с которой он и до того вел полемику. Герцен в том же году писал из Лондона Огареву: «Запятавши свои грузинские когти, Николадзе в предисловии к Чернышевскому зацепил нас и совершенно с той точки зрения, с которой Писарев в «Базарове» (видно я не ошибся)».

В 1865 году Н. Николадзе пишет статью по поводу смерти Прудона, в которой критически рассматривает экономическую систему Прудона и справедливо замечает, что эта система «не могла искоренить основного зла общественного строя Франции».

В этом очерке, опубликованном в «С.-Петербургских ведомостях» (1865 г., 25/1), Н. Николадзе заявляет, что система Прудона не предусматривала того, что «в современном положении промышленности Франции идет непримиримая борьба между капиталистами, с одной стороны, и рабочими, с другой, и вместе с тем внутренняя борьба между капиталистами и — так же между рабочими».

В этой большой статье, заслужившей высокую оценку П. Лаврова, перепечатавшего ее в своем «Заграничном Вестнике», Н. Николадзе приходит к выводу, что деятельность Прудона не дала ничего нового и достопримечательного экономической науке; его система принесла лишь косвенную пользу тем, что обострила общественное внимание к отрицательным сторонам капиталистического производства.

В 1866 — 1868 гг. Н. Николадзе публикует в Швейцарии несколько трудов, касающихся актуальных вопросов общественно-политической жизни России. В 1868 году в Женеве на французском языке печатается его докторская диссертация.

Это была первая докторская диссертация, в частности, по социально-экономическим проблемам, представленная грузинцем в высшее учебное заведение Западной Европы, если не считать диссертации теологического характера, защищенной в 1733 году в Риме на латинском языке Д. Тулукашвили.

Для того, чтобы дать хоть приблизительное представление о воззрениях Н. Николадзе по вопросам такой важной проблемы современности, как всеобщее разоружение, приведем лишь одну выписку из этой диссертации: «Назначение настоящего сочинения заключается в выяснении незамечаемой с пер-

вого взгляда связи между проблемой разоружения и проблемой радикальной реорганизации современного общества. Автор старается разъяснить необходимость одновременного решения этих двух проблем и показать, что решение первой из них невозможно без того, чтобы не возникли непреодолимые препятствия, вытекающие из второй, которая тяжелым бременем давит наше общество.

Блага, ожидаемые от всеобщего разоружения, столь несметны и могут обеспечить нам столько счастья, что рано или поздно мы будем вынуждены преодолеть всевозможные препятствия, которые могут возникнуть на пути ее осуществления. Индустрия, раз она освободится от милитаристского режима и от социальных несуразностей, происходящих от этого режима, сразу же развернет свои крылья и наполнит все человечество изобилием и счастьем». Но «для общественного блага будет опасным, если мы приступим к делу разоружения так, чтобы предварительно не подготовить почву для радикальной и полной реорганизации социальных отношений».

За границей Н. Николадзе знакомится с такими известными писателями и общественно-политическими деятелями Западной Европы, как Поль Лафарг, Виктор Гюго, Альфонс Додэ, Луи Блан, Лео Гамбетта и другими, и устанавливает с ними близкие дружеские отношения.

Именно в эти годы Н. Николадзе, по видимому, при посредстве П. Лафарга, знакомится с К. Марксом¹.

К. Маркс предложил Н. Николадзе «принять на себя обязанности представителя Интернационала в Закавказье». На это предложение Н. Николадзе ответил отказом. С «Капиталом» Н. Николадзе впервые ознакомился в корректуре русского перевода (изданного в 1872 году). Когда позднее Н. Николадзе прочитал «Капитал» во французском переводе, он пришел к убеждению, что «мысли К. Маркса не применимы для нынешней Грузии».

И позднее Н. Николадзе часто бывал в Западной Европе. Примечательно, что в 1873 году, в Цюрихе по его инициативе был создан союз (кружок) грузинских студентов «Угели»², о цели кото-

рого в том же году сообщал цюрихский корреспондент газеты «Дрозба».

В 1873—1875 гг. в Париже Н. Николадзе принимает активное участие в прогрессивной французской печати. В своих публицистических выступлениях он критикует, например, Луи Блана за соглашательскую политику, которую тот вел в дни революции 1848 года и во время Парижской коммуны. В изданной в 1875 году в Париже брошюре «La presse de la decadence» Н. Николадзе разоблачает реакционную французскую прессу периода падения Коммуны.

Интересно отметить, что Эмиль де Жирарден, один из виднейших представителей французской журналистики того периода, полностью перепечатал упомянутую брошюру в своей популярной газете «La France».

В своей брошюре, бичуя консервативную французскую печать, которая служила слепым орудием реакционного правительства, Н. Николадзе, между прочим, пишет: «...Подкупом или же раздачей теплых мест правительство делает своими одописцами руководителей газет, а если окажутся две-три оппозиционные газеты, то против них издаются бесконечные законы, которые угрожают штрафами, предупреждениями, тюрьмой и запрещениями. Были даже случаи смертной казни работников печати из-за их в политическом отношении неприемлемых статей».

В 1873 году Н. Николадзе организовал в Париже издание первой в Западной Европе грузинской газеты «Дроша» («Знамя»), общественным идеалом которой была «свободная федерация всех кавказских народов на основе экономического равенства всех граждан».

В основном те же цели преследовал созданный в этот же период в Женеве, опять-таки по инициативе Н. Николадзе, съезд кавказцев, на котором председательствовал Г. Церетели¹. Каждый раз, возвращаясь из Западной Европы на родину, Н. Николадзе привозил с собой большое количество нелегальной литературы.

С. Мгалоблишвили пишет, что «возвращение Н. Николадзе из-за границы создало совершенно новое направление в литературе и жизни», что «молодежь с увлечением читала» произведения Скандели (Николадзе).

В своих неизменно острых публицистических статьях Н. Николадзе нередко ссылался на авторитет К. Маркса. Так, например, в статье, написанной в 1876 году по поводу смерти Бакунина, он сравнивает его с

¹ Джабадари. Воспоминания («Былое», № 7).

¹ С. Хундадзе. Сведения о К. Марксе в грузинской литературе. «Социалистическое хозяйство Грузии», 1933 г., № 1-2, стр. 109—112.

² ЦАУ ГССР, фонд 114, д. 24/97, 1873 г. «Угели» не был кружком только грузинской молодежи; сюда входил, например, П. Измаилов, как «представитель армянского общества» (см. Т. Хундадзе. Очерки из истории народного образования в Грузии. 1951 г., стр. 288 (на груз. яз.).

К. Марксом, отдавая последнему явное предпочтение¹.

И на этот раз Н. Николадзе возвращается на родину с обширными планами общественной и публицистической деятельности. Но царские власти имели о нем уже вполне определенное представление и к деятельности его отнеслись весьма настороженно.

В сентябре 1876 года он обращается в Кавказский цензурный комитет с просьбой о разрешении ему периодического издания: сборника под названием «Капризы пера», который будет «состоять исключительно из его собственных сочинений, без всякого участия сотрудников».

Но наместник Кавказа «не соизволил» дать разрешение на упомянутое издание. Через год Н. Николадзе вновь обращается с просьбой «о соизволении мне издавать в г. Тифлисе под моею же редакцией политическую и литературную газету «Обзор».

В связи с этими просьбами Н. Николадзе Кавказскому цензурному комитету и Главному управлению кавказского наместника неоднократно приходилось составлять характеристику его политической и литературной деятельности.

Например, было отмечено, что «в Женеве... сблизившись с многими русскими эмигрантами, особенно с Эллидиным, (он) занимался вместе с сим последним изданием сперва разных грязных политических брошюр, а потом революционного направления листов, и, наконец, в 1866 г. Николадзе напечатал в Женеве под псевдонимом Никифора Г. противоправительственную брошюру под заглавием «Правительство и молодое поколение», по поводу выстрела 4 апреля 1866 г., «что Николадзе по природным своим способностям, литературной подготовке, знакомству с краем и умению обобщать вопросы общественного и чисто литературного характера и излагать их в общедоступной форме не имеет соперника в местной публицистике. По мнению комитета, на Кавказе более чем где-либо в России ощущается, в интересах правительства и самого общества, настоятельная необходимость всестороннего обсуждения в местной прессе текущих вопросов экономических и других, но ни один из литературных деятелей края не в состоянии удовлетворять этой необходимости в такой степени, как Николадзе».

По вопросу разрешения издания газеты «Обзор» бюрократическая волокита затянулась. В одном из своих прошений, обещая полное соблюдение всех цензурных правил и т. д., Н. Никола-

дзе пишет заместителю кавказского наместника князю Святополк-Мирскому (23, VII. 1877):

«...Если, несмотря на все это, правительство признает невозможным дать мне просимое разрешение, то почтительно прошу Вашу светлость исходатайствовать мне... право отправиться на жительство в Петербург или за границу, где бы я мог зарабатывать себе средства к жизни своей литературной работой».

Наконец Н. Николадзе добился разрешения издавать газету «Обзор», которая скоро зарекомендовала себя «как одна из самых радикальных газет в империи».

В этом отношении следует отметить, что передовая статья первого же номера «Обзора» (1878) заслужила внимание самого министра внутренних дел А. Тимашева, который в конфиденциальном письме (27, I. 1878) сообщал князю Святополк-Мирскому:

«...В передовой статье № 1 газеты «Обзор»... автор, рассуждая о конечных результатах настоящей (русско-турецкой) войны, признает несомненным, что она должна послужить «поворотным столбом» для многих наших домашних распорядков. Став освободителями и более чем покровителями стран, во многих отношениях далее нас подвинувшихся по части общественного развития, мы тем самым принуждены будем сделать усилия сравняться с ними. Это неизбежный логический вывод, и сколько бы мы не старались обойти эту потребность, она заставит нас подчиниться ей».

С этого времени газета «Обзор» и его редактор все чаще подвергаются нападкам со стороны Кавказского цензурного комитета и соответствующих инстанций административных и судебных органов: запрещаются отдельные статьи, иногда целые номера газеты, почти систематически штрафуются редакция, редактор привлекается к судебной ответственности и т. д.

Так, например, начальник Главного управления кавказского наместника в своем докладе (31, I. 1879) великому князю М. Романову относительно статей, помещенных в газете «Обзор» (в № 350) от 1 января 1879 года, пишет:

«...Передовая статья «Минувший год» с начала и до конца явно порицает настоящее положение дел в империи и содержит в себе весьма резкие упреки в бессилии и полной несостоятельности правительства как в вопросах политики внешней, так и в преследовании злоупотреблений, совершающихся во внутренней жизни государства. Сопоставляя настоящее положение нашей внутренней жизни с теми явлениями, которые в природе предше-

¹ «Тифлисский вестник», 1876, № 143.

ствуют буре или грозе, — автор в заключение выражает желание скорейшего наступления стихийного переворота. Очевидно, что под этими заключительными словами кроется желание скорейшего наступления насильственного государственного переворота в политической жизни России. Содержание этих статей само по себе вредное и содержит стремление подорвать всякий авторитет и силу верховного правительства с помощью печатного слова».

А спустя буквально три дня (3.II. 1879), Кавказский цензурный комитет, в своем донесении прокурору Тбилисской судебной палаты, излагает всю суть «преступления и наказания»: «На основании же 251 статьи уложения о наказании виновные в составлении и распространении письменных или печатных объявлений, воззваний или же сочинений или изображений, с целью возбудить к бунту или явному неповиновению власти верховной, приговариваются к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжные работы в крепостях на время от восьми до десяти лет»¹.

В своей поистине многогранной литературной, публицистической и общественно-политической деятельности Н. Николадзе почти систематически приходилось сталкиваться с административными и судебными органами, с тайной полицией самодержавия.

Здесь же следует отметить, что о незаурядных публицистических способностях Н. Николадзе хорошо было известно в русских революционных кругах еще в 60-ые годы XIX века. Один из видных представителей этих кругов Н. И. Утин в письме Н. Огареву от 14 февраля 1867 года, намечая некоторые мероприятия для улучшения и активизации «Колокола», в котором «за последнее время — и за довольно долгое последнее время — вовсе не видно определенного направления», называет и людей, которых, по его мнению, следовало бы пригласить с этой целью для работы в редакции «Колокола»: «Мечников и Жуковский, вероятно, могут более обсудить вместе с вами программу журнала; Николадзе, я слышал, очень способный публицист...»²

В конце семидесятых годов Н. Николадзе в одном из принадлежащих ему трактатов излагает свое мировоззрение. С этого времени он уже более определенно и уверенно вступает на путь, по которому следует на протяжении всей своей долгой и плодотворной деятель-

ности. Отлично понимая историческое значение сближения грузинского народа с русским, он стал у себя на родине горячим поборником национального возрождения и проводником этих идей в практической хозяйственной деятельности¹.

На протяжении семидесяти лет Н. Николадзе с поразительной эрудицией неутомимо откликался почти на все культурные, просветительские, политические, административные, общественные и экономические явления в жизни России и, в частности, — Закавказья. Пресса и издательство, просвещение и искусство, отмена крепостного права и судебные реформы, земство и самоуправление, община и артель, город и городское управление, взаимоотношения дворянства и буржуазии, классовые и национальные интересы, положение рабочих и крестьян, аграрные отношения и сельскохозяйственное производство, в частности, — вопросы улучшения животноводства и растениеводства, вопросы новых культур и отраслей; различные формы кредита — ссудо-сберегательные кассы, торгово-промышленные банки, поземельный (ипотечный) кредит; строительство портов и железных дорог, ткибульский уголь и чиатурский марганец, алавердская медь и нефтепромыслы Баку; мелиорация и виноделие, лесное хозяйство и лесная промышленность — и еще множество дел и вопросов стояли в центре его пристального внимания, и он активно, энергично вмешивался во все вышеназванные области народного хозяйства.

Мы перечислили здесь лишь в общих чертах сферы хозяйственной жизни страны, в которых Н. Николадзе играл руководящую роль. Но если познакомиться детально с некоторыми из них, например, с делом железнодорожного строительства, достаточно только перечислить личные фонды Н. Николадзе: 1) железнодорожная реформа 1882 года; 2) закавказские железные дороги; 3) станция Ианети; 4) вопрос хонской железной дороги; 5) ткибульская железная дорога; 6) вопрос железной дороги Поти — Зугдиди — Прохладная; 7) железнодорожная линия Сухуми; 8) черноморская линия железной дороги; 9) кахетинская железная дорога; 10) железная дорога Батуми — Трапезунд; 11) железная дорога через перевал; 12) различные железные дороги².

Можно сказать, что начиная с семи-

¹ «Исторический Вестник», 1945, I, стр. 63—88.

² «Литературное наследство», 1955, т. 62, стр. 684.

¹ Н. Николадзе. Любовь и служение родине. Кутаиси, 1914, II изд., стр. 107—111 (на груз. яз).

² Каталог архива Н. Николадзе, 1829—1917 гг. Тбилиси, т. I, 1954, стр. 189—208.

десятих годов прошлого столетия в отраслях народного хозяйства Грузии и Закавказья не было начинания, в которое Н. Николадзе не внес бы своей лепты. Его деятельность всегда отличалась размахом и смелыми проектами, которые зачастую получали высокую оценку у специалистов России и Западной Европы. Он всегда стоял в ряду тех передовых людей, которые боролись за скорейшее внедрение новейших достижений науки и техники в жизнь. Достаточно отметить, например, что он увлекся идеей электрификации еще в 1884 году, когда ему в Париже довелось лично присутствовать на опыте (демонстрации открытия М. Дебре) передачи электричества на расстоянии.

Н. Николадзе с юности присущ был широкий диапазон политической и публицистической деятельности. Он редактировал различные периодические издания, русские и грузинские, и кроме того, имел собственные издания, из которых особенно примечательна была газета «Обзор». Сотрудничать в ней были приглашены видные писатели и публицисты Европы и России. Н. Николадзе стремился с помощью этой газеты ознакомить соответствующие круги России с общественным и экономическим положением Грузии и Закавказья, укрепить дружеские взаимоотношения России и Закавказья, упрочить культурный обмен русского и грузинского народов.

Но, как мы отмечали выше, царская бюрократия признала «Обзор» крайне радикальным органом и много раз штрафовала редакцию и в конце концов в 1880 году судебные власти приговорили к ссылке редактора газеты Н. Николадзе, который еще с 1861 года числился в списках «политически неблагонадежных лиц» и надзор над которым осуществляли агенты личной канцелярии императора и жандармерия.

Н. Николадзе выступил на арену общественной деятельности, когда капитализм совершал победоносное шествие по стране и буржуазная идеология могла позволить себе быть до крайности радикальной, могла даже распро-

странять идеи атеизма и социализма, дабы еще более расшатать подгнившие устои феодального строя.

Но в первоначальном хаосе этих идей постепенно устанавливался определенный порядок и последовательность. Большая часть представителей крайне радикальных, революционно-демократических направлений переживала, так сказать, модификацию.

Н. Николадзе, настроенному крайне радикально, полному просветительских социал-утопических идей пришлось иметь дела с бюджетами и бухгалтерскими счетами банков, железных дорог, фабрик, заводов, шахт. Он очень скоро столкнулся с грубой и слухой государственной машиной самодержавия. Все это, конечно, не могло не оказать своего влияния на человека такого темперамента, как Н. Николадзе.

Приведем одно сравнение. В 60-х годах Н. Николадзе писал об отношениях царского правительства и своего поколения: «между этими двумя лагерями невозможно какое-либо — да, именно какое-либо — сближение, невозможно какое-либо примирение».

Н. Николадзе пережил большую эволюцию на протяжении своей бурной и долгой деятельности.

Еще один факт, который, возможно, поможет более полно раскрыть идею его нестаряющегося, вечно стремящегося к лучшему духа: он с восторгом встретил установление Советской власти в Грузии, активно включился в строительство социализма, был покорен его гигантскими масштабами.

В связи со смертью Н. Николадзе газета «Коммунисты» писала в 1928 году:

«Советское правительство высоко ценило Н. Николадзе, его талант, его знания и опыт». Н. Николадзе «ясно видел, что после установления Советской власти в жизнь пришли новые люди, новые силы... и что в руках этих людей процветание и возрождение Грузии происходит гораздо быстрее, чем раньше».

Эдуард ЕЛИГУЛАШВИЛИ

Николай Цагеридзе, наш современник

Сколько раз приходилось слышать, что книги имеют свою биографию. Роман Сергея Сартакова «Ледяной клад», который написан совсем недавно, имеет уже не только биографию, но и географию. Почти одновременно заинтересовались романом и представили ему свои страницы журналы «Сибирские огни» и «Литературная Грузия».

Чем объяснить подобный, в буквальном смысле слова широкий, интерес к новому произведению? Может быть, хитросплетениями сюжета, запутанностью жизненных судеб героев, обилием головокружительных приключений и экзотичностью описаний — всем тем, что обычно определяется как «читабельность»?

Обычно в ответ на все эти риторические вопросы следует односложное — «Нет!». И обезоруживающий аргумент: «Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать книгу...». Сознаться, мне трудно прибегнуть к помощи этого аргумента. Потому что «достаточно прочитать книгу», чтобы увидеть: сюжет в ней сложен и все время держит читателя в напряжении (не правда ли, как-то даже непривычно писать это о книге, не принадлежащей к достославному жанру детектива?); судьбы героев многоплановы и осложнены многочисленными связями с окружающими — друзьями, недругами, равнодушными свидетелями — словом так, как бывает в жизни; трудностей, неожиданностей и борьбы человека с обстоятельствами в романе столько, что их хватило бы на целую серию книжек под грифом «Мир при-

ключений»; наконец, местом действия своего романа писатель избрал Сибирь, и описания ее природы покоряют, запоминаются, убеждают своей достоверностью.

Но главное — то, что составляет основу, суть романа, главное — изображенные в нем люди. Именно души людей и являются тем кладом, который дороже всего на свете.

В общем-то схема, к которой при желании можно свести роман С. Сартакова, очень проста и даже, я бы сказал, обычна для «литературы о кладах»: герой узнает о загубленных богатствах и, прибегая к помощи одних, преодолевая сопротивление других, — добывает их. К счастью, книги поверяются не схемами из наставлений «Как писать романы», а жизнью.

Действие романа начинается с высокой ноты, с драматически напряженных сюжетно-композиционных элементов. Это нужно автору не только для того, чтобы сразу же заинтересовать читателя. Но и для того, чтобы как можно быстрее, на предельно малом «плацдарме» ввести в действие своих основных героев, представить их в поступках и решениях, показать их крупным планом.

Существует литературный прием, когда писатель понемногу «приоткрывает» своего героя, как бы последовательно накладывает мазок за мазком, чтобы к кульминации произведения представить его облик окончательно нарисованным. Я бы сказал, что С. Сартаков принадлежит к другой «школе» романистов — персонаж сра-

зу рисуется многообразно и исчерпывающе, его характер создается локальными и определенными цветами, а в дальнейшем происходит столкновение различных характеров, их изменение, развитие, порой даже ломка. Разумеется, трудно предполагать существование той или иной манеры у какого-либо писателя в чистом виде, без всяких исключений. Но наиболее интересными и последовательными характеристиками «Ледяного клада» С. Сартаков продемонстрировал тяготение именно ко второй тенденции, которую условно можно назвать «кинематографической», в отличие от первой — «живописной».

С первых же страниц романа появляются два неразлучных друга — Миша и Максим. Стремительно и динамично завязывается «узелок» их отношений с чудесной девушкой Афиной — Феней.

И так же с первых страниц возникает еще одно «действующее лицо» произведения — могучая, непокорная и суровая природа Сибири.

Автор вводит в повествование резкую на язык, решительную и смелую Женьку Ребезову, юного мечтателя Павлика. Озадачивает своими бесконечными историями и «кросвортами» Василий Косованов — причем озадачивает не только Цагеридзе, но вначале и читателя. Привлекает глубиной чувств, цельностью натуры и какой-то невысказанной горечью Мария Баженова. Так далекий и таинственный Читаутский рейд оживает благодаря своим людям.

Собственно говоря, основную тему «Ледяного клада» можно определить как «оживание», «оттаивание» человеческих ценностей. Оживает Читаут — это жители его стали в процессе сражения за «замерзший миллион» складываться в трудовой коллектив. Оттаивают человеческие души, которые волею предшествующих обстоятельств, лишились веры в какие-то очень важные человеческие свойства — честь, любовь, достоинство и мужество.

Это относится к Марии Баженовой, сложная и во многом трагическая судьба которой заставила ее замкнуться, «заледенеть», внутренне отгородиться от людей. Но встречи с Цагеридзе изменили ее взгляд на мир. Если подсчитать, сколько описано в романе этих встреч, то, пожалуй, окажется, что количество их поразительно невелико, да и то большинство имело чисто деловой характер. Но здесь вступают в силу законы «сочетания личного и общественного», «труда, как наиболее полного и исчерпывающего средства раскрытия человеческой личности». Все эти литературовед-

ческие «аксиомы» получили в романе С. Сартакова неожиданное и убедительное подтверждение.

Очень значительным и принципиальным достижением романа «Ледяной клад» представляется мне образ Николая Цагеридзе. Для чего автор выбрал главным героем своего произведения грузина, да к тому же еще одноногого, инвалида войны? Как, какими средствами достигает он его «национальной характеристики»? В какие взаимоотношения ставит с остальными персонажами романа?

Ответы на эти вопросы позволят нам понять, почему образ Николая Цагеридзе можно считать крупным успехом автора.

Вот первое появление Цагеридзе в романе.

«Цагеридзе холод пронизывал насквозь, но вылезти из кошевы и пробежаться, как это делал Павлик, он не мог. Вместо левой ноги от колена у него был протез, новый, непривычный, и ковылять на костылях по рыхлому снегу Цагеридзе не решался».

Таким образом, «экспозиция» образа задана вполне ясная и определенная. Несмотря на то, что о характере героя, собственно, еще ничего не сказано, мы вправе ждать чего-то незаурядного. Человек, для испытания которого составлен столь трудный «экзаменационный билет», должен быть достоин того.

Первая реплика Цагеридзе вполне обыденна:

«— Сколько осталось? — вяло спросил Цагеридзе, и оттого, что он заговорил, сразу колючая дрожь поползла у него по спине. Ах, как хорошо бы теперь выпить стакан горячего чая! А еще лучше — виноградного вина. Такого, какое умеют делать, наверно, только в Сачхери».

Как видим, очень тактично и ненавязчиво, с первой же фразы возникает в романе С. Сартакова «грузинская тема» (кстати, редактору книги, корректору или еще кому-то надо было исправить название на Сачхере). Может быть, все вполне традиционно? Герою уже холодно и хочется вина... Но стоит продолжить чтение романа, как убеждаешься, что автору понадобился герой-грузин для того, чтобы показать новое, широкое и всеобъемлющее восприятие советским человеком всей советской страны как Родины. Не теряя национального, не теряя любви и преданности к родной грузинской природе, Цагеридзе, в то же время, человек новой формации. И эта новизна обусловлена не только Октябрьской революцией, но и всеми последующими годами труда и борьбы. Герой Сартакова — наш современник

не только по отметке в паспорте, не только по деталям биографии, но — и это прежде всего — по своему сознанию, по складу характера.

Я не прошу верить всему этому на слово. Приглядимся, как строится из отдельных — всегда обычных и остающихся, если можно так выразиться, в среднем регистре — деталей образ Николая Цагеридзе.

«В тресте он был рядовым сотрудником отдела сплава, инженером, которому Читаутский рейд представлялся лишь высокой колонкой цифр в общей сводной ведомости. Ровно в одиннадцать Цагеридзе стал начальником этого рейда. А сейчас он уже исполняет свои прямые обязанности...»

Так неожиданно попадает он в Читаут. Столь же стремительно, не изыскивая хитрых сюжетных ходов и обходных маневров, С. Сартаков заставляет своего героя при первой встрече с сослуживцами заполнять «личный листок по учету кадров».

Двадцать девять лет. Семнадцати — не закончив школу — ушел на фронт. Под Берлином ранен. Семь с половиной лет лечился по госпиталям. За это время заочно окончил десятилетку и даже лесотехнический институт...

Стоп. Читатель чувствует, что совсем не такое уж бесполезное дело — анкета. Здесь уже что-то от характера, от человеческой личности: молодому парню, да еще некогда лучшему бегуну в округе, лишившись ноги, не так-то легко взяться за учебу. Склонный к юмористическому отношению к себе герой С. Сартакова ничего не рассказывает о своем психологическом состоянии в те семь с половиной лет. Но догадаться не так уж трудно.

Последуем по «анкете» дальше. Как попал сюда, в глубь Сибири, почему остался, каким образом рискнул забраться в Читаут? Ответы столь же просты и многозначачи.

Лечился в Красноярске и за это время полюбил Сибирь и сибиряков. «Мог бы теперь вернуться на родину, поехать в Сачхери, в Грузию, кушать виноград». Но, во-первых, «не очень приятно хромому снова там показываться, где тебя видели ловким, быстрым», а во-вторых, «надо быть не где южнее, а где нужнее».

Какая из двух причин главная, основная? Пожалуй, если бы писатель сделал этот выбор, подчеркнул бы одну из двух мотиваций, образ героя стал бы намного примитивней, «литературней», потерял бы стереоскопичность, а значит и жизненность.

Цагеридзе продолжает свою шутливую, но вполне серьезную «исповедь».

«— По отчетам, в запани, осталось зимовать двадцать восемь тысяч кубо-

метров прекрасного леса. К этому прибавьте еще наплавные сооружения. Словом, во льду оказался целый миллион... Мне очень хочется получить этот замерзший миллион. И я думаю, вместе с вами, мы его получим».

Он пока еще думает об этом «ледяном кладе» по отчетам. Жизнь и борьба «за миллион» многое изменяют во взглядах Цагеридзе на окружающее. Эта борьба станет основным стержнем книги. И, может быть, острый конфликт — новое повторение вечной коллизии «лед и пламень» — еще раз убеждает нас в том, что авторский выбор основного героя — правильный и неслучайный.

Как рисует С. Сартаков «пламень»? Какими средствами создается национальное своеобразие характера Николая Цагеридзе?

Исключительная преданность своему делу, кристальная честность и чистота чувств, широкий ум и горячий темперамент (не дежурное блюдо при создании «кавказского» характера, а органическое свойство человеческой личности) — все эти и многие другие качества героя романа, которые дают право говорить о том, что перед нами подлинный герой наших дней, сочетаются с удивительно тактичным и точным национальным фоном, проявляющимся и в складе сознания, и в характерности речи (опять-таки, не в пресловутом «акценте», как мы увидим ниже), и в тех постоянных связках воспоминаний, ассоциаций, которые накрепко привязывают Цагеридзе к его родной Грузии.

Вот почти случайный и беспорядочный ряд примеров.

Мария Баженова во время одного из первых их разговоров говорит Цагеридзе:

«— У вашей бабушки для вас было много разных имен, а я знаю только одно — Николай. Этого для меня мало».

— Грузины не называют друг друга по отчеству, но вы пока еще не грузинка, — он сделал шутливый нажим на слове «пока», — и поэтому, если хотите, пусть Цагеридзе будет для вас Николаем Григорьевичем».

В другом месте Цагеридзе готов сказать и «традиционный» комплимент:

«— Лидочка... Точно так звали у нас в госпитале самую любимую сестру. Она умела делать уколы совершенно безболезненно. А головные боли лечила так: приложит тебе к горячему лбу свою прохладную руку, дунет в глаза, засмеется — и боли как не бывало. Лидочка... Ах, как мы все ее любили! Может быть, всеобщая лю-

«Бовь всегда сопутствует вашему имени?»

В этой фразе столько душевной деликатности, я бы сказал — душевного изящества, что при самом большом желании нельзя в ней усмотреть ничего общего с тем пошлым «стилем» речи «красавчиков с усиками», которые насаждаются в произведениях типа «Девушка с гитарой».

Кстати, нетрудно убедиться, что по уровню представлений создатели подобных творений недалеко ушли от злой и ограниченной свекрови Баженовой из романа С. Сартакова. Вот какова «логика» ее рассуждений:

«— Бесстыдство, — глухо сказала она, — бесстыдство разводите, Марья Сергеевна, Лопатин на квартиру просился сколько раз, да я не пустила — распущенный был человек. Этому доверилась, инвалидство его пожалела, а он такой же. Ясно, южный, у них там...»

Вот и вся аргументация: «У них там...». И не только у этой ворчливой старухи.

Очень поучительной представляется мне и речевая, вернее — языковая характеристика Цагеридзе. Автор романа и здесь не пошел по легкому пути эксплуатации штампов, призванных как будто индивидуализировать речь персонажа всяческими обиходными «грузинизмами», а на деле лишающих ее всякой оригинальности, самобытности. Штамп, трафарет, привлекаемый для индивидуализации! Парадокс, но, к сожалению, все еще имеющий хождение в художественной практике.

Разговор Цагеридзе отличается от своеобразной (и тоже всегда индивидуальной в романе!) речи сибиряков. Тут сыграло роль и его образование, в общем в какой-то степени нивелирующее лексику, и то, что для него русский язык — не родной язык. Он говорит правильно, чисто, без всяких «грузинизмов», но порой непонятным оказывается для него какое-нибудь чисто сибирское речение или хитро закрученный «кросворт» бухгалтера Косованова. Порой задумается он в разговоре над словом или ощутит неудобство от нарушения общепринятых языковых правил.

Вот он едет на санях в Читаут и невольно прислушивается к песне, которую поет Павлик. Ухо уловило какую-то неправильность.

«Цагеридзе хотел сказать Павлику, что песня ему нравится, только вот неладно «жгутся морозы», да с размером стихотворным что-то не в поряд-

ке... А Павлик поет и поет... Вот, кажется, и еще проскочило какое-то не правильное слово у него в песне. Не сразу только сообразишь, в чем именно неправильность. А есть она. Но в чем же, в чем? Непонятно».

Естественны и, что не менее важно, не приблизительны, а убеждающе точны частые воспоминания Цагеридзе о Грузии: о Тбилиси, Сачхере, шумной Квириле и зеленых крутых склонах, по которым бегал он в детстве. Так же по-человечески понятно, что вдали от родины он готов даже в отдаленно схожей мелодии услышать знакомый напев и растрогаться до слез.

«...Когда последняя песня, немного грустная, напомнившая Цагеридзе грузинскую «Сулико», оборвалась на полуслове и больше не возобновилась, а звездочка костра стала медленно тускнеть и гаснуть, — он все еще сидел взволнованный, счастливый и думал: «Ах, хорошо быть человеком!..»

Особенно запомнилась мне совершенно проходная и неакцентированная деталь: Цагеридзе, предпринимая поистине героические усилия для спасения «ледяного клада», распорядился пустить по замерзшей реке воду. Косованов напоминает ему, что вода может растопить снег, так как она — теплая.

«Цагеридзе схватился за голову.

— Почему я всегда забываю, что вода зимой «теплая!»

Писатель ничего не подсказывает, даже на мгновение не фиксируя нашего внимания на этой реплике. Но поражает психологическая точность детали: да, человеку, проведшему детство на юге, у берегов холодной Квирилы, трудно привыкнуть к тому, что «вода зимой теплая», даже если всю свою сознательную жизнь он провел в Сибири.

Таковы некоторые мысли, возникшие при чтении «Ледяного клада». Я вовсе не намерен утверждать, что в романе все безупречно (даже в образе Цагеридзе, по возможности подробно проанализированном здесь, меня не убеждает «бабушкина мудрость», к которой часто прибегает герой). Но мне кажется, что даже вне такого подробного разговора о сильных и слабых сторонах романа (который, безусловно, заслуживает такого разговора, и будем надеяться, что он еще состоится), имело смысл отметить принципиальную и важную удачу романа и порадоваться за автора.

Шалва КВАСХВАДЗЕ,

кандидат искусствоведческих наук

Ценный вклад в искусствоведческую науку

В конце 1962 года в обширном книгохранилище Музея искусств Грузии появилась еще одна книга на французском языке. Название книги в переводе — «Эмали Грузии», из серии «Чудеса искусств Востока».

«Эмали Грузии» можно считать блестящим образцом научного исследования и обобщения.

Этой книгой академик Шалва Амиранашвили впервые выносит на мировую арену так полно, широко и систематизировано великие и редкие памятники — грузинские эмали, созданные народом на протяжении веков и пронесенные им сквозь исторические бури.

Проблема происхождения грузинской эмали, ее история, технология, ее художественная, эстетическая сущность и стиль впервые стали доступными на страницах книги Ш. Амиранашвили. Автор впервые освещает проблемы, до тех пор невыясненные, касающиеся как искусства эмали грузинского народа, так и других народов.

Грузинская эмаль действительно удивительна не только в художественном, эстетическом отношении, но и с точки зрения технологии. Как это впервые становится ясным из труда Ш. Амиранашвили, в основе технологии лежал собственно грузинский способ варки, собственные задачи колорита.

Шалва Амиранашвили в истории исследования названной проблемы высказывает в своем труде совершенно новую и оригинальную точку зрения, которая не только сама по себе убедительна, но и проверена автором путем строгого научного анализа и аргументирована с большой научной точностью.

Грузинская эмаль до рецензируемой книги (если не иметь в виду отдельные работы Ш. Амиранашвили) еще не была всесторонне и монографически изучена. Не были точно установлены вопросы происхождения, технологии, стиля грузинской эмали.

Как известно, основные положения такого крупного исследователя грузинского искусства, каким был Н. Кондаков, в области научного изучения грузинской эмали, ее художественно-исторического значения — были ошибочны. Несмотря на это, следует отметить большую заслугу Н. Кондакова. Он первым определил различия в грузинской и византийской эмали, но большому ученому осталась непонятной характерная для грузинской художественной эмали полифоничность, которая так характерна для грузинской музыки, живописи, архитектуры, а также прикладного искусства. Если говорить точнее — суть той полихроматичности, которая так ясно выявилась еще в дохристианскую пору в грузинском искусстве — в золотой чеканке. Н. Кондаков не учел этого момента и развил ошибочные положения о том, что грузинские мастера не смогли достичь высокого технического уровня и художественного совершенства византийских мастеров.

Академик Ш. Амиранашвили в рецензируемой книге первым пытается рассеять всевозможные ошибочные взгляды и определить место грузинской художественной эмали в истории мирового искусства, доказать на основании фактического материала, с одной стороны — ошибочность взглядов некоторых исследователей в вопросе о происхождении грузинской эмали, и, с другой — оригинальность грузинской эмали как в художественном, так и историческом аспектах. Автор блестяще обосновывает все выдвинутые им положения.

Монография открывается главой «Эмаль на золоте», в которой автор на основании обзора материала утверждает, что в Грузии, в отличие от других стран, эмаль делалась только на золоте и дошла до нас в большинстве случаев в виде икон, медальонов, украшений на обложках рукописей, крестов, ожерелий и других предметов.

Затем автор анализирует историю на-

учных исследований по изучению грузинских эмалей, с большой научной точностью и объективностью говорит о заслугах иных исследователей, критикует ошибочность взглядов других.

Автором проведена удивительно точная классификация памятников искусства грузинской эмали и их датирование на основе вдумчивого и глубокого анализа как художественно-стилистических, так и исторических материалов.

Ш. Амиранашвили с глубоким знанием технологии изготовления эмали освещает мало изученные стороны проблемы и устанавливает различия между византийской и грузинской эмалью.

На основании исследований, проведенных за последние годы в Музее искусств Грузии, автору удалось установить те существенные различия, которые характеризуют грузинскую эмаль и в способе изготовления смальты и в использовании цвета и перегородок.

В книге, в сущности, впервые в истории мирового искусства раскрывается секрет использования в грузинской эмали оттенков винного цвета способом, не встречающимся у других народов и основывающимся, как это утверждает автор, на примешивании марганца в смальту.

Автор доказывает, что этот принцип использовался с древнейших времен и его не знали в других странах. Автор объясняет это связью с местными материалами — потреблением в Грузии марганца.

Грузинские художественные эмали Ш. Амиранашвили характеризует и анализирует с точки зрения их композиции и колорита как оригинальные и в высшей степени художественные произведения. Особо подчеркивается способ изготовления их только на золоте.

В труде особого внимания заслуживает приведенный автором материал в связи с историей технологии эмали и перегородок.

В грузинской эмали золотая перегородка очень тонка. Именно поэтому она вызывала сомнение: удивлялись, как может такая тонкая перегородка выдержать высокую температуру, нужную для плавки эмали. Секрет грузинской эмали и ее перегородок на протяжении веков оставался неразгаданным. В рецензируемой книге автор окончательно выясняет, что изготовление грузинской эмали, в отличие от используемой технологии у других народов, основывалось на так называемом холодном способе и что этот способ соединения в Грузии называли «холодной пайкой».

На страницах книги, когда это бывает необходимо, автор дает подробный стилистический анализ, обзор иконографии

и сравнение эмалей византийского и грузинского происхождения, технологические отличия выемчатой и перегородчатой эмали, их сложность и простоту, особенно в связи с технологией. Автор здесь же отмечает, что секрет этой техники был известен только в Грузии и потерян бесследно еще в XV веке. Отмечено и то обстоятельство, что спустя пять веков эта техника была восстановлена в Музее искусств Грузии инженером Ираклием Таруашвили. В книге детально дана технология изготовления грузинской перегородчатой эмали. Читатель здесь впервые знакомится с секретом этого дела.

История грузинской эмали дана в книге начиная с материалов триалетских раскопок до наших дней. Художественно-стилистический и научный анализ этих исторических материалов дает возможность Ш. Амиранашвили сделать выводы и развить совершенно новые и справедливые положения относительно того, что грузинский способ холодной пайки и художественно-стилистический «почерк» ее был основан в Грузии еще до принятия христианства и становления его искусства; древний грузинский способ изготовления эмали применялся и при создании памятников христианского искусства, и он ни в коем случае не был завезен из других стран.

В связи с этим вопросом в книге выдвигается справедливое положение относительно независимого происхождения искусства эмали в Киевской Руси (X век).

Заслуживает внимания исчерпывающая и всесторонне проверенная история коллекционирования грузинской эмали. Точно указано местоположение, перемещение, случаи похищения и возвращения коллекций, названы современные иностранные хранилища грузинской эмали — в Берлине, Мадриде, Париже, Бельгии, Америке, перечислены коллекции частных лиц.

Несколько слов о переводе и оформлении книги.

Французский перевод принадлежит проф. Хиршу. К чести переводчика следует сказать, что перевод выполнен не только квалифицированно, но и с большим мастерством.

Оформление книги не только современно, но в нем сохранена академичность в лучшем смысле этого слова. К книге приложены 122 цветные таблицы, выполненные безукоризненно.

Парижское издательство «Кружок искусства», выпустив книгу Ш. Амиранашвили, открыло для французского читателя еще одну интересную страницу в истории искусств.

Георгий ПАЙЧАДЗЕ

Содержательное исследование

Рабочая печать Грузии зарождалась и развивалась, превращаясь в грозное оружие политической борьбы с самодержавно-капиталистическим строем, под руководством большевиков. Как и вся большевистская печать, она являлась не только коллективным пропагандистом и агитатором, но и коллективным организатором трудящихся масс. Будучи составной частью большевистской печати, на всех этапах ее исторической деятельности она являлась самым надежным и дальнобойным идейным оружием нашей партии.

В период нового революционного подъема (1910—1914 гг.) рабочая печать Грузии успешно справлялась с трудной задачей, стоявшей тогда перед пролетарской партией, — в борьбе с дезорганизаторами — меньшевиками-ликвидаторами и прочими идейными перерожденцами отстоять нелегальную марксистскую партию, сплотить под ее знаменем революционные силы и идейно подготовить их для борьбы.

Работа Д. Ватейшвили «Рабочая печать Грузии в 1910—1914 годах», изданная недавно АН Грузинской ССР, ставит целью систематическое изложение развития рабочей печати Грузии в период нового революционного подъема. В ней показано, как местная партийная печать, несмотря на жестокие преследования царского правительства и гнусные нападки и клевету, возводимую на большевиков меньшевистской прессой, успешно справлялась со своими важнейшими задачами. И хотя

рабочая печать, руководимая большевиками, сравнительно была малочисленна по количеству изданий и по тиражу, в руках местных большевистских организаций она являлась важным средством пропаганды марксистско-ленинского учения.

Автор вначале рассматривает историю основания и содержание нелегальной рабочей печати. Показывает первые шаги, предпринятые большевиками Грузии по возрождению партийной рабочей печати еще в период наступления реакции в 1908 году, когда в условиях террора и преследований большевики сумели организовать издание нелегальной газеты «Брдзола» («Борьба»). Затем рассматривает деятельность издававшейся в 1910 году нелегальной газеты «Тифлисский пролетарий», сыгравшей значительную роль в сплочении разрозненных партийных сил и явившейся боевым средством доведения до революционных масс Закавказья руководящих указаний большевистской партии.

Далее автор дает обзор революционной легальной рабочей печати Грузии в 1910—1914 гг. — газеты «Могзаури» («Путешественник»), альманаха «Мгзаври» («Путник»), журнала «Чвени цкаро» («Наш родник») и армянской газеты «Мер хоск» («Наше слово»), в которых пропаганда большевистских идей, хотя и велась в завуалированной форме, однако приносила большую пользу, так как рабочие уже имели опыт восприятия легальной больше-

вистской пропаганды. В годы первой русской революции, отмечает автор, они приобрели опыт «чтения между строк» и уяснения основного вопроса, обсуждаемого легальной печатью.

Анализируя деятельность редакции журнала «Чвени цкаро» в целом, автор повествует о ее борьбе против буржуазно-националистических партий и их печатных органов, о решительном отпоре, который она давала всяким попыткам извратить и представить в ложном свете интернациональные принципы большевиков. На конкретном материале рассматривается вопрос об острой полемике между большевистской и меньшевистской частями редакции журнала, которая завязывалась по самым актуальным проблемам революционного движения и партийной жизни и которая выявляла полную несостоятельность доводов меньшевиков, отстаивавших свои узкофракционные интересы в ущерб развитию классовой борьбы пролетариата.

В книге повествуется о большой организаторской работе, которую проводили грузинские большевики по распространению центральных партийных изданий — газет «Социал-демократ», «Правда» и по сбору средств среди трудящихся для образования фонда в поддержку центральной партийной печати; о традиционных связях грузинских большевиков с заграничным большевистским центром, а также с партийными организациями Петербурга и Москвы; о роли газеты «Правда» в политическом воспитании и организации рабочего класса и крестьянства Грузии на борьбу с самодержавием.

В заключение Д. Л. Ватейшвили отмечает роль и значение листковой пар-

тийной пропаганды большевиков Грузии в 1913—1914 гг. В частности, листовок и прокламаций, приуроченных к первомайским праздникам 1913 и 1914 годов и др.

Работа Д. Л. Ватейшвили — первая попытка монографического изучения истории рабочей печати Грузии в 1910—1914 гг. Она не лишена некоторых недостатков. Так, например, в книге встречаются декларативные фразы и общие заявления, которые следовало бы раскрыть и проиллюстрировать конкретными материалами. Автору следовало бы подробнее коснуться вопроса участия большевиков Грузии и, в частности, рабочей печати Грузии в подготовке, проведении и выполнении решений Пражской конференции.

Во второй главе, которая озаглавлена «Революционная легальная рабочая печать Грузии в 1910—1914 гг.» дается анализ листовок и прокламаций, издаваемых большевиками нелегально в 1910—1912 гг., тогда как третья глава специально посвящена листковой рабочей печати, но почему-то ограничена периодом 1913 и 1914 гг. Желательно было бы расширить ее хронологические рамки, в частности, начать с периода 1910 года и углубить по содержанию.

В ряде случаев в книге встречаются повторения.

Но все это не снижает ценности книги Д. Ватейшвили, в которой содержится много ранее не исследованного материала и которая, думается, с интересом будет прочитана не только специалистами, но и широким кругом читателей.

Тина МУРМАНИШВИЛИ

Пусть всегда будет радуга

О журнале „Пионери“ № 6

Мальчик давно мечтал подержать в руках хоть недолго, хоть одну единственную минутку, радугу. Она такая пестрая, мягкая, веселая, но она очень далеко, попробуй, достань! И вот он держит в руках радугу, такую же, ну, почти такую же, как та, что на небе, — пеструю, мягкую, веселую. Эта радуга нарисована на обложке журнала «Пионери». Ведь мальчик тоже пионер. Это его журнал.

Мальчик листает странички июньского номера журнала «Пионери», и, снова радуга, много радуг, нет, они не нарисованы, просто их ощущаешь в каждом рассказе, рисунке, стихотворении.

Этот номер журнала сделан детьми. Он интересен по замыслу и исполнению, преследует большую и благородную цель — воспитывать в маленьких чувство дружбы и интернационализма. Вот как об этом пишет сам журнал: «Мы обратились в редакции детских журналов, издающихся в Советском Союзе, а также к общественным организациям ряда зарубежных стран с просьбой прислать художественные произведения детей. Наше начинание было всеми поддержано, и мы получили много хороших стихотворений, интересных рассказов, очерков и рисунков».

Да, этот номер сделан маленьким человеком. Вчитайтесь в рассказы, в стихи, посмотрите на рисунки. Жажда маленьких к миру, солнцу, радугам вылилась в одно повествование, написанное единой рукой русского и японца, грузина и кубинца, эстонца и француза — всеми детьми нашей планеты.

Маленький человек пишет фантастический рассказ и думает о полетах в космос, пишет о зиме и видит солнце,

слагает гимн Миру, отрицая войну и требуя радуг. Порой он становится серьезным и взрослым, то снова превращается в ребенка, хочет петь и играть, держать в руках солнце и радугу.

Маленький человек рассказывает о себе маленькому читателю, и это ему интересно. Он смеется вместе с Марией из Польши и Костей из Ленинграда, вместе с Маргарит из Англии и Альберто из Италии, он мечтает вместе с Гиви из Тбилиси и Петей из Украины, он думает вместе с Хулиано Гримао с Кубы и с Гаджиакбаром из Узбекистана. У него теперь много друзей: везде, везде, на всей планете.

И мальчик снова листает странички, да он не ошибся — журнал, как радуга, та, что на небе. А те, кто угадал желание мальчишек и девочек, тоже, наверно, мечтали о радугах, пестрых, мягких, веселых (редактор Мухран Мачавариани, художественное оформление Гайоза Поцхишвили).

И мальчик снова мечтает. Пусть эта радуга протянется через земли и горы, пусть тысячи маленьких читателей возьмут в руки журнал «Пионери». Пусть будет так, как пишет журнал: «...В ходе работы над этим номером у нас возникла мысль, что хорошо было бы организовать издание международного детского журнала, в котором будут печататься произведения юных авторов разных стран. Это будет способствовать сближению и укреплению дружбы между детьми всех континентов нашей планеты, и тем самым внесет ценный вклад в дело укрепления всеобщего мира».

Мальчик верит, что скоро, очень скоро будет и такой журнал, мечты ведь сбываются.

Леонид РОСТОВЦЕВ

Дом на улице братьев Танеевых

Тихая, даже чересчур тихая для Москвы улица. Серый каменный особняк. На звонок открывает дверь сам хозяин.

— Пожалуйте. Из Тбилиси? Давненько я там не бывал.

Он стоит передо мной — высокий, стройный, с седой бородкой клинышком — человек, ставший еще на заре авиации известным стране и миру.

— Что же мы топчемся в прихожей? Прощу, дорогой южанин.

Комната, в которой мы беседуем, скорее походит на музей. На стенах висят пропеллеры, барометры, грамоты. Множество фотографий: Россинский в форме пилота царской России; Россинский на старомодном биплане... На пианино выстроились модели самолетов. Они расставлены в ряд, как семь слоников, приносящих счастье. По этим моделям легко проследить прогресс нашей авиации. Вот первый самолет — самый первый, на котором много десятилетий назад летал хозяин дома. Рядом — модель более совершенной машины. Первые АНТы, ИЛы. Красавцы ТУ, распластавшие огромные крылья. И, наконец, — ракета, на которой человек взлетел в космос...

На противоположной стене висит чистенькая, будто только из типографии, афиша:

«Ипподром императорского тульского бегового общества.

8 и 9 сентября 1910 года
полеты первого авиатора-москвича
Бориса Илиодоровича Россинского на
аэроплане системы Блерио.

Оркестр военной музыки.
Начало в 5 час. веч.

Афиша была отпечатана и расклеена на улицах Тулы 53 года назад. Тогда, свыше полувека назад, эти полеты воспринимались как удивительное чудо, необыкновенное, невиданное зрелище.

Но, пожалуй, самая памятная реликвия, выставленная в комнате, — огромный мотор: он снят с самолета, на котором Борис Илиодорович летал сорок пять лет назад.

— Этот полет связан с дорогими воспоминаниями, — говорит Борис Илиодорович. — Ведь именно тогда Владимир Ильич назвал меня «дедушкой русской авиации», и с тех пор этот «титул» закрепился за мной на всю жизнь.

Я прошу Бориса Илиодоровича рассказать о полете подробнее, и он долго молчит, полузакрыв глаза. Кажется, старый летчик заново переживает тот неповторимый день 1 мая 1918 года... Россинский рассказывает, и я вижу ясное, солнечное утро и Ходынское поле, и летательный аппарат, и молодого

человека в кожаной тужурке, ожидающего команды взлететь...

— Между прочим, я на этом самом Ходынском поле в 1910 году впервые начал летать. А через восемь лет мы справляли на Ходынском аэродроме первомайский праздник. Неподдалеку находилась летная школа, инструктора взлетали и разбрасывали над городом листовки; листовки кружились в воздухе, казалось, будто на кривые московские улицы, на крыши домов падают крупные желтые листья...

К одиннадцати часам полеты прекратились. А вскоре на Ходынское поле приехал Феликс Эдмундович Дзержинский. Осмотрел мои самолеты, предупредил:

— Сюда приедет Владимир Ильич, надо показать ему достижения нашей авиации.

Для Бориса Илиодоровича это не было новостью. Он еще накануне узнал о предстоящем приезде Владимира Ильича и попросил на заводе, чтобы фюзеляж его одноместного самолета выкрасили в красный цвет. На заводе не только выполнили эту просьбу пилота, но и вывели вдоль фюзеляжа огромными белыми буквами: «Россинский».

— В моем распоряжении было два самолета, так как я возглавлял так называемую «летучую лабораторию», научным руководителем которой был профессор Н. Е. Жуковский. Да, да, тот самый знаменитый Жуковский, которому принадлежит крылатое изречение о том, что «в математике тоже есть своя красота, как в живописи и поэзии».

Феликс Эдмундович осмотрел самолеты и попросил:

— Не прокатите ли меня, Борис Илиодорович?

— С превеликим удовольствием.

Россинский сделал несколько кругов над полем, а когда приземлился, то увидел толпы рабочих. Они шли колоннами, и красные знамена развевались на ветру над их головами. Навстречу рабочим шагали военные части — то была гордость Советской республики, недавно сформированные отряды молодой Красной Армии, которым предстояло отправиться на фронты гражданской войны.

Владимир Ильич приехал, примерно, в четыре тридцать: оказывается, он задержался, потому что по дороге, на Неглинной, его долго не отпускали рабочие — пришлось выступить перед ними. Как только Ленин приехал — воздух сотрясся от приветствий. Вместе с ним были Мария Ильинична и Надежда Константиновна.

— Феликс Эдмундович попросил,

чтобы я познакомил Владимира Ильича с достижениями авиации того времени. Я поднялся в воздух. Поднялся и задумался: что показать Ленину? Я сделал 18 «мертвых петель», потом два витка «штопора» и пошел на посадку.

Когда Борис Илиодорович приземлился, к нему подошел Дзержинский, взял под руку и подвел к Владимиру Ильичу.

Ленин стоял на балконе. Увидев пилота, он зааплодировал и воскликнул:

— Bravo, bravo, дедушка русской авиации!

Надежда Константиновна и Мария Ильинична рассмеялись:

— Володя, ну какой же он дедушка?

Россинскому было всего 35 лет, и по всему его внешнему облику, по смущенной улыбке чувствовалось, что пилот, который только что безбоязненно делал в небе «мертвые петли», сейчас немного растерялся.

А Владимир Ильич возразил:

— Дедушка. Я сужу не по возрасту, а по стажу старейшего русского летчика.

Вот так и стал с той поры Борис Илиодорович Россинский «дедушкой русской авиации». И народная молва закрепила меткое крылатое выражение Ильича.

Потом Дзержинский рассказывал Борису Илиодоровичу, что Владимир Ильич собирался полететь, и потому он, Феликс Эдмундович, прокатился первым, чтобы проверить надежность самолета. А не полетел Ленин только потому, что его с трудом отговорили Надежда Константиновна и Мария Ильинична.

— Они боялись, — смеясь, рассказывал Дзержинский, — вдруг вы и с Владимиром Ильичем сделаете такие же «мертвые петли»...

* * *

...В большой, просторной комнате много света и солнца. Мы беседуем. Разговор наш перескакивает с одного на другое, но больше всего мы, конечно, говорим о судьбах авиации. Я спрашиваю:

— Велика ли дистанция от первого самолета до космической ракеты? Как она была пройдена?

— Дистанция? — отзывается Россинский. — Что такое для истории пятьдесят пять лет? Пустяковое время. Часть дистанции пройдена в царское время, другая часть — в наше. Сравнивать, конечно, не приходится. Хотите, я расскажу о первых наших

шагах в области авиации. Младенческих шагах.

Все, о чем говорит Борис Илиодорович, интересно не только само по себе, но и потому, что говорит он о том, что видел своими глазами, с чем сталкивался, что испытал... Он рассказывает о первом многомоторном русском аэроплане, которому присвоили богатейшее имя «Илья Муромец». Его сконструировал киевлянин Сикорский. «Илья Муромец» был гордостью русской авиации. Еще бы: четырехмоторный, многоместный (он брал на борт десять пассажиров)!.. Когда началась первая мировая война, девять воздушных кораблей были превращены в бомбардировщики. На каждом из них можно было поднять полтонны груза, и это тоже составляло предмет гордости «русского воздушного флота».

— Между прочим, сразу же после установления Советской власти штуки три уцелевших «Муромцев» стали курсировать из Москвы в Тулу, оттуда в Орел, в Харьков и обратно. Потом открылась постоянная линия Москва—Нижний Новгород (Горький). У «Ильи» моторы были истребаны, трасса была ненадежной и считалась пробной, но ни одной аварии не случилось. Счастливая случайность, думаете? Вы бы посмотрели, с какой любовью наши первые красные механики относились к делу!

Судьба конструктора «Ильи Муромца» Сикорского да и других конструкторов России сложилась незавидно. До революции авиация была в распоряжении дяди царя — Александра Михайловича, но он делал ставку на французские летательные аппараты, закупал их, а Сикорского и его коллег-соотечественников не поддерживал.

— Представляете, — Борис Илиодорович вспоминает об этом с возмущением, — представляете, на конкурсе в Петербурге Сикорский взял первый приз за представленную конструкцию аэроплана, но тем не менее военное ведомство и не подумало заказать его самолеты. Да разве он один! Вы, может быть, слышали о конструкторе Слесареве? Талантливый был человек, ох, до чего талантливый! Мой товарищ по техническому училищу. Ученик знаменитого Жуковского. Так вот, Слесарев покончил с собой. В 1915 году он построил самолет «Святогор», гораздо лучше, совершеннее «Ильи Муромца». Когда выяснилось, что «Святогора» нужно усовершенствовать, конструктора лишили этой возможности. Так погибла идея создания нового типа самолета, погиб и его создатель.

Россинский рассказывает, как огромен был порыв летчиков, мечтавших

прославить Россию. Потом добавляет с горькой усмешкой:

— А прославлять-то свою родину приходилось на французских самолетах, да еще старых. Рекорды доставались французам. Единственный рекорд остался за нами: на «Илье Муромце» удалось достичь небывалой по тому времени продолжительности полета с грузом — «Муромец» поднимал в воздух около 500 килограммов...

Борис Илиодорович вспоминает зимнее декабрьское утро 1910 года, когда летчик Александр Алексеевич Васильев направился на французском самолете «Блерио» из Елисаветполя в Тифлис. 240 километров пути считались в ту пору колоссальным расстоянием. Перелет Васильева вошел в историю, потому что это был самый длительный беспосадочный перелет в России.

Я замечая: сейчас 240 километров самолет проходит минут за пятнадцать, а беспосадочные полеты мы совершаем из Москвы в Гавану...

— Так то сейчас! — отзывается Борис Илиодорович. — Наверное, чтобы достичь этого, нужно было пройти через многие испытания, которые теперь кажутся... — он долго не может подобрать подходящее слово, — ну, наивными, что ли. Вам, вероятно, покажется смешной история с полетом Дыбовского и Андриади. А мы в то время жили этим полетом. Дыбовский и Андриади были военными летчиками. Однажды, это было в 1912 году, они совершали перелет из Севастополя в Петербург. Летели, разумеется, на французском самолете. Был у них «на вооружении» бидон с бензином, с его помощью они заправляли самолет. Дольют в баки горючее, посадят механика с бидоном на поезд и отправят его вперед. Тот в условленном пункте встречал летчиков с новым запасом горючего: поездом добраться до любого места было куда быстрее.

Вот так, «на заграничных перекладных» и прошла российская авиация половину своей дистанции.

О другой, половине пути Борис Илиодорович рассказывает с увлечением, хотя была она сложной и трудной для советских авиаторов. Он рассказывает, как в двадцатые годы добровольные общества «Добролет» и «Укрвозпуть» пытались проложить трассу в Тбилиси. Летать туда было очень тяжело. И прежде, чем самолет перелетел через Кавказский хребет, была проложена трасса из Минеральных Вод в Ростов через Харьков, потом — еще через 5 лет — полетели в Махач-Калу и Баку, а уже после этого был совершен первый рейс из

Минеральных Вод в Тбилиси. Пробовали летать на немецком самолете, но самолет этот не мог высоко забраться и его отставили. Уже тогда наши конструкторы усиленно работали над первыми советскими моделями машин. Они должны были летать высоко, быстро и долго.

Что до маршрута полетов из Москвы в Тбилиси, то выбран был для того времени самый удачный: через Харьков, Сочи, Сухуми, Кутаиси.

— И вы летали по этому маршруту?

— Нет, — с сожалением отвечает Борис Илиодорович. — Мне предлагали лететь, но я был занят: испытывал новые самолеты. А в Тбилиси я побывал позднее. И с удовольствием. Тбилисские встречи и тбилисское радушие невозможно позабыть.

Борис Илиодорович вспоминает эти встречи, и мягкая, добрая улыбка появляется на его лице.

— Я приехал вместе с писателем Новиковым-Прибоем. Уже на вокзале мы попали в объятия гостеприимных хозяев. Это были, главным образом, грузинские писатели. Особенно я сдружился с Георгием Леонидзе. Вернетесь в Тбилиси, пожалуйста, передайте ему мой поклон. Чудесный человек. Прекрасный поэт. Он знакомил нас со столицей Грузии, с ее достопримечательностями, очень интересно говорил о грузинской культуре, традициях грузинского народа. Встреча с Георгием Леонидзе не забывается вот уже почти четверть века и, я думаю, что останется в памяти на всю жизнь...

— И еще одно воспоминание, — Борис Илиодорович все еще улыбается, но теперь его улыбка становится лукавой, озорной. — Всюду нас встречали хлебом-солью и вином. Я особого пристрастия к вину не питаю, но

гостеприимство искренне трогало меня. В общем, грузинского вина мы выпили столько, что, уезжая, я решил: теперь перерыв по крайней мере на год. Сел в вагон. А в купе, понимаете, — Борис Илиодорович рассказывает и хохочет, — а в купе трое грузин и боченок вина. Узнали меня, раскупоривают бочонок: «За нашу дружбу!» А как, скажите, не поддержать такой прекрасный тост?.. Мне очень хочется снова побывать в этом гостеприимном, радушном городе.

...И снова разговор заходит об авиации. Ветеран-пилот делится своими мыслями о ее будущем. Скорость, дальность, потолок — вот проблемы, которые сейчас решают советские конструкторы, говорит он. И решают они эти проблемы лучше всех в мире.

— Почему нам это удастся? — переспрашивает Россинский. — Все дело, я думаю, в стартовой площадке. Я имею в виду нашу социалистическую систему. Наступит время, мы запросто будем летать на Луну, притом, заметьте, мы, советские, первыми проложим эту трассу. Самыми первыми...

Я гляжу на него: дедушка русской авиации. Живое воплощение многолетней истории нашего мужества, наших успехов в небе. Человек, который написал Никите Сергеевичу, что хоть он счастлив и горд за сынов своей Родины, проложивших первыми путь в космос, но «они гораздо счастливее меня, так как являются членами КПСС и с гордостью пронесли знамя коммунизма по космосу». Человек, который на 80-м году жизни навсегда связал свою судьбу с ленинской партией, вступив в ее ряды.

С чувством благоговения покидаю я тихий особняк на московской улице братьев Танеевых...



И. ХУЦИШВИЛИ

Первая тропа

Поглядеть на нового бригадира бегала вся ферма. Лили сидела в комнате заведующего на краю стула и искоса поглядывала на распахнутую дверь, в которой то и дело появлялись любопытствующие. Типичная городская девчонка с крашеными ногтями вызвала за дверью веселое оживление. Там откровенно посмеивались, обменивались ехидными замечаниями. Она все слышала. Подмывало встать и бежать без оглядки.

Голос заведующего доносился будто издалека, и Лили плохо улавливала смысл слов. В памяти всплыли институтская аудитория, картонное коровье вымя, расчеты рационов и разгневанное лицо преподавателя Кумсиашвили на практике в Качрети. Присмотревшись, как Лили поднесла к носу платок, чтобы не чувствовать едкого запаха птичника, обычно уравновешенный руководитель практики вышел из себя. «Маменькина дочка! Ты что, забыла в каком институте учишься? — горячился Владимир Георгиевич. — Не выйдет из тебя зоотехника!»

Эта последняя фраза и удерживала ее сейчас на стуле.

Перед рассветом Валерий провожал жену на ферму. В неразбуженной еще петушиной перекличкой тиши различал-

ся говор Иори. Лили, зябко поводя плечами, молчала.

Валерий изредка пытался шутить. У дверей коровника он легонько подтолкнул ее: «Не трусь!».

Лили вздохнула, переступая порог.

На ферме готовились к дойке. Появление бригадира не вызвало вчерашней сенсации — в этот хлопотный час дояркам было не до нее. Но взгляды, взгляды — испытующие, насмешливые и быстрые, как удар... Опасливо косясь на коров и стараясь сосредоточиться, Лили пробиралась вдоль стен. Еще вчера утром она не сомневалась, что знает о коровах все, а сейчас — в голове сплошной туман, острая неприязнь к шеренге чавкающих, равнодушных ко всему коровьих морд и жалость к себе. Все институтские знания показались ненужными. «Зеркало носовое», «молочное зеркало», «молочная вена» — вряд ли кто из доярок подозревает о них. Но так ли важны эти «зеркала»?

Задержалась возле склонившейся доярки. В ведро из-под пальцев били короткие белые струйки.

— Зачем пальцами доишь? Надо кулаками. И вначале передние доли, потом задние, — неожиданно для себя произнесла Лили.

Лучше б она остановилась где угодно но не возле Варвары Иорамашвили — насмешницы и заводилы.

— А ты покажи, бригадир. Я не умею иначе, — Варвара вскочила со скамейки, — покажи, как в институте доят.

Отступать было поздно. Лили присела. Корова испуганно шарахнулась, а Лили растерянно смотрела на вымя. В институте она «доила» лишь картонный муляж и только раз на практике тщетно пыталась выдавить хоть каплю молока. Ни одной капли не упало в ведро и сейчас.

И еще дважды в этот день пришлось бригадиру скомпрометировать себя. Коров выводили на прогулку. Тесня друг друга, они торопливо рвались на воздух. Застигнутая врасплох рогатой лавиной, Лили забилась в угол и зажмурила глаза. А к вечеру — еще хуже. При виде степенно шествующего по проходу громадного быка Лили в безотчетном страхе бросилась в сторону. Варвара, оказавшаяся рядом, взвизгнула от восторга и плюхнулась с хохотом в силосную корзину.

День, похожий на пытку, сменился бессонной слезной ночью.

* * *

Сейчас о первой встрече с фермой Лили рассказывала мне спокойно, с мягким юмором. Так вспоминают обычно пору давно минувшую. Между тем прошло-то всего немногим более двух лет. О своей жизни рассказывали, перебивая и дополняя друг друга, двое — Лили Хомасуридзе и Валерий Комбай.

Передо мной раскрывались страницы семейной хроники двух молодых людей. Людей рядовых и, на их взгляд, ничем не примечательных.

* * *

Доить Лили все же научилась. Помогли Эло Циклаури и одна из ее подопечных — смиренная и нетугодойкая «Багдада». Это нужно было хотя бы для того, чтобы прийти потом к директору совхоза Арчилу Георгиевичу Деметрадзе и начать разговор об электродойке. Директора уговаривать не пришлось — он и сам понимал все преимущества электродойки, только до сих пор на ферме не было человека, который разбирался бы в ней.

А вот с доярками оказалось сложнее. Сломить их неверие Лили удалось лишь столбиками цифр с экономическими расчетами. А всего несговорчивей была двухсотдвадцатипятиголовая мычащая компания. Коровы с трудом привыкали к аппаратам, хитрили, «скрывали» молоко. Лили, которой еще недавно все они казались, как говорится, на одно лицо, только сейчас поняла, что рассказы

о характере, капризах, привязанностях каждой из них не досужий вымысел. Постепенно научилась она различать коров по именам, помнить особенности каждой. Но по-настоящему ферма и ее люди стали родными для Лили в один очень тяжелый вечер.

Бригадир обедала дома, когда за ней примчалась Варвара.

— Скорей, с «Черной» беда!.. — только и успела крикнуть она с порога.

В коровнике была паника. Телилась «Черная» — гордость фермы. Телилась тяжело, и исход не предвещал ничего хорошего. Директор поднял на ноги всех сведущих людей, привез даже главного районного ветеринара. И все тщетно. У «Черной» началась агония. В воздухе повисла удручающая тишина, от которой стало жутко. Лили растерянно недоумевала — к чему такая трагедия? Не человек же умер. Неприятно, конечно...

Ночью, рассказывая Валерию о происшествии, Лили вдруг осознала все значение увиденного и поняла, что только отдавая всего себя делу, которому служишь, можно испытать настоящую радость и всем сердцем переживать каждую неприятность, связанную с ним.

А «Черной» не стало потому, что неверно кормили последний месяц, плох был уход за ней. Бригадир-зоотехник, на кого же ты рассчитывала, как могла не доглядеть?

Вновь появились книги. Когда-то нужные лишь для сессий, они, оказывается, таят массу важных сведений, без которых специалист и шагу не вправе ступить на ферме. Ночами Лили высчитывала рационы кормления, составляла графики отела, случек. На ферме — с головой ушла в проблемы организации труда, использования техники, всего многообразного комплекса зоотехнического учета, надзора. И всему учила подруг по бригаде.

Новшества бригадира приживались легко: доярки со средним образованием, да и результаты агитировали лучше всего. Появилась возможность вдвое «уплотнить» бригаду. Теперь доярок стало восемь. По двадцать восемь коров на каждую.

Распорядок дня установился жесткий. С пяти утра до десяти вечера — ферма. В промежутке — два перерыва на быт и книги. В двенадцать, после газет, книг и радио, — отбой. По утрам на ферму шагают всей бригадой. В эти полчаса дорожного разговора заквашивается весь день.

Однажды вечером, когда уже собирались расходиться по домам, на Сартичала вдруг обрушились с гор бешеные порывы ветра. Оглушительно захлопали

двери. Над головой неистово завывало, загудело. Со звоном стали лопаться стекла окон. Осколки посыпались в кормушки.

— Скорее чистить, — закричала Лили. Все бросились выбирать осколки — неровен час корова проглотит. Погасло электричество. Зажгли фонари. Ураган неистовствовал до утра. До утра лопались стекла, выбирались из кормушек осколки...

Все трудности и неприятности в бригаде, как и радость, стали общими.

Нештатным членом бригады как-то незаметно стал Валерий. Он любил заходить на ферму после уроков в школе, узнавать о делах, поделиться новостями и повидать жену. «Валерий пришел», — разносилось по ферме, и все обступали Валерия в ожидании сообщений о событиях в мире. А потом комитет комсомола утвердил его официальным агитатором.

— Ну, теперь ты доволен? — подтрунивала Лили.

— Кто-то же должен просвещать вас? — в тон отвечал Валерий.

Впрочем, у него оказался серьезный конкурент — дядя Иван, совхозный механик. Самоучка, по уши влюбленный в технику, дядя Иван повадился на ферму после того, как здесь почувствовали вкус к механизмам. Заслышат девчата дребезжащее стрекотание «Харлея» — старого, перевязанного проволочками мотоцикла, радуются: приехал дядя Иван. Он ввалится, огромный, богатырского сложения, все осмотрит и обязательно заведет разговор о политике. Это его второй конек — международные дела. Информирован, как министр иностранных дел.

И обязательно справится о Латавре: «Как тут живет моя самая маленькая?». Латавра Циклаури предмет особой опеки Лили, да и всей бригады. В прошлом году окончила школу и по семейной традиции — на ферму в доярки. Хрупкой, действительно самой маленькой, ей было очень трудно поначалу — особенно с дойкой. Бывало всплакнет на плече сестры Эло, но другим вида не подаст, тем более — Лили. А все знали и все старались помочь Латавре: подруги — во время дойки, скотники — в часы кормления. Лили попыталась было уменьшить ее рогатый «отряд», но Латавра так расстроилась... А дядя Иван решил взять на себя «обеспечение моральной поддержки» своей подопечной.

* * *

Простому убранству комнаток еще не под силу поведать о вкусах хозяев. Красноречивы лишь забитая книгами са-

модельная полка, стопки бумаг, пишущая машинка, телевизор. Мы сидели с Валерием, дожидаясь прихода Лили, и рассматривали фотоснимок грузинской делегации на XIV съезде комсомола в Георгиевском зале Кремля. Бригадир известной всей Грузии бригады коммунистического труда стояла в верхнем ряду.

Потом Валерий показывал мне свои рефераты. Сельский учитель скоро заканчивает заочно аспирантуру Тбилисского университета. Впереди защита диссертации о творчестве предтечи Гоголя — писателя Василия Трофимовича Нарезного.

* * *

Ну что ты поделаешь с этими рогатыми упрямыми! Лили в сердцах пнула «Нушу». Хоть плачь или читай им лекцию о пользе гороха. Чего стоило убедить скептиков получить участок, раздобыть семена. И на тебе: ткнут морду в ароматную охапку, лизнут языком и равнодушно отворачиваются. Кто-то предложил посолить горох. Не помогло. Смешали с сеном, комбикормами — то же.

— Все. Хватит миндальничать. Пусть попостятся, — в конце разозлилась Лили. — Вечером кормить ничем не будем.

Наутро 220 упрямец встретили дойрок недоуменным мычанием. Кормушки заполнили зелеными охапками. Коровы опять отвратили свои головы и повысили голос. Поединок продолжался еще два часа. В коровник можно было войти лишь зажав уши. Постепенно хор смолк. Лили осторожно заглянула в дверь. Над кормушками виднелись только холки и слышалось дружное чавканье.

— Едят, — захопала в ладоши Лили, — едят!

Об этой победе Лили рассказывала в своем институте полгода назад. Ей нужно было встретиться с Кумсиашвили потому, что «Нет, не выйдет из тебя зоотехника!» до сих пор стояло в ушах. Лили долго отчитывалась. Владимир Георгиевич удовлетворенно кивал головой, хвалил, удивлялся: «В нашем опытном хозяйстве коров приучить к гороху не удалось».

А вскоре к Лили на ферму приехали три сотрудника института опробовать эффективность комбобактерина Орабинского на коровах. «Кушанье» это сложно готовить. Пришлось соорудить даже нечто вроде специального цеха. Эксперимент длился месяц, а потом разочарованные сотрудники института уехали к себе, в Тбилиси. Лили пыта-

лась уговорить их продолжить работу. «Месяц — маленький срок. Коровьи желудки должны привыкнуть к новым ощущениям, прежде чем как-то ответить на них. Одно дело быстрая эффективность комбобактерина на свиньях — они скороспелые животные, другое — коровы. Месяц срок малый», — убеждала Лили.

Свои аргументы Лили изложила и в институте. Для нее вопросы кормления коров стали особенно важными. Сколько книг на эту тему ей пришлось перебрать, ночами просиживать над ними. И тут Валерий насел: «Ну вот и у тебя свой конек появился. Поступай в аспирантуру». В конце концов убедил.

Быть в Сартичала двум кандидатам наук.

* * *

Я прощался с Лили и Валерием в день, когда они оба вернулись с бюро партийного комитета Гардабанского производственного управления. Вернулись коммунистами. Год назад и тоже в один день их приняли кандидатами в члены партии. Перед бюро Лили заволновалась. «А вдруг узнают, что мы муж и жена? Неудобно как-то. Что-то вроде семейственности получается».

Нет, это не семейственность, а родство. Родство по духу, по близости взглядов, по отношению к делу. Им-то и определяется понятие «современник». Два наших современника вышли на свою жизненную тропу, чтобы утверждать на земле лучшее.

с. Сартичала

Федор ШАВИШВИЛИ

Из воспоминаний старого большевика

Ровно в 2 часа пополудни поезд остановился на станции Вологда. Выйдя из вагона, я отыскал место в зале ожидания. До рассвета оставалось еще часов пять. Сажу и перелистываю в памяти измятые страницы поседевшего прошлого... Всплывают революционные бури 1905—1907 годов, затем разгул царских карательных экспедиций, военно-полевые суды, суровые удары наступившей реакции...

Вспомнился и давнишний приезд в Вологду. Тогда нас было 30 человек каторжан, закованных в железные цепи. Жандармы поспешно освободили перрон вокзала от публики и конвойные высадили из специального арестантского вагона людей, изнуренных долгим следованием по этапу. К нам никого близко не подпускали. Расставили в ряд по три человека и повели в каторжную тюрьму, расположенную в противоположном конце города. Двое из конвоиров с саблями наголо шли впереди, а мы, окруженные усиленной охраной, следовали за ними, шумно звеня кандалами.

Глухие дебри, нескончаемые леса, непроходимые болота, бездорожье, суровый климат, крайняя отсталость населения — таков был этот северный край, куда царские власти ссылали своих политических врагов и прогрессивных деятелей страны.

В Вологодскую губернию ссылали со всех концов России — из Петербурга, Москвы, Киева, Варшавы, Одессы, Закавказья, Прибалтийского края. Еще в феврале 1837 года Николай I сослал в Вологодскую губернию профессора

Московского университета Н. И. Надеждина за то, что он опубликовал в издаваемом им журнале «Телескоп» первое «философское письмо» П. Я. Чаадаева. В вологодской ссылке побывали видные революционеры-демократы прошлого века, известные писатели Н. В. Шелгунов, В. Г. Короленко и многие другие передовые люди «доброе» старого времени. В Вологодскую губернию были сосланы и видные деятели нашей партии: в 1899 г. И. А. Самар — делегат III партсъезда, в 1902 г. — А. В. Луначарский, М. Ф. Шкирятов, П. А. Джапаридзе, в 1912 г. — М. И. Ульянова, В. В. Воровский и другие.

«Многие из них — интеллигенты, хорошо развиты, умны», — читаем в секретном донесении жандармов.

Полагаясь на безграмотность и отсталость населения губернии и незначительное число промышленных рабочих, царское правительство упустило из виду огромную притягательную силу марксистско-ленинского учения и недоценило революционную энергию сосланных туда партийных работников. Близко общаясь между собой, ссыльные устраивали дискуссии, делились впечатлениями, опытом и еще больше росли и развивались политически, все выше и выше поднимая знамя свободы.

«Большевики в ссылке крепко и уверенно держали в своих руках знамя партийности.

Они использовали годы ссылки для того, чтобы максимально повысить свой теоретический уровень, превращая

ссылку в своеобразный университет марксизма-ленинизма.

В ссылке они создавали партийные организации, вовлекали в них деятелей, развертывали широкую пропагандистскую и агитационную работу среди населения»¹.

В одном из своих ежемесячных секретных донесений Вологодское губернское жандармское управление сообщало Главному департаменту полиции:

«Проживающие в гор. Сольвычегодске ссыльные социал-демократы Петров Иван Петрович, Голубев Иван Михайлович, Ильин Николай Матвеевич, Шур Александр Яковлевич, Хоситов Иродион Исаакович², Святковский Федор Игнатьевич, Джугашвили Иосиф Виссарионович, Каландадзе Михаил Александрович, Коростелев Георгий Александрович и Жаворонков Григорий Иванович решили между собой организовать социал-демократическую группу и стали устраивать собрания по несколько человек в квартирах Голубева, Джугашвили, Шур, иногда и у Петрова. На собраниях читаются рефераты и обсуждаются вопросы о текущем политическом моменте, о работе Государственной думы, как использовать в партийных интересах то обстоятельство, если возникла бы война между Россией и Китаем. Цель этих собраний подготовить опытных пропагандистов среди ссыльных»³. Далее в донесении говорится, что за всеми упомянутыми лицами учреждено тщательное негласное наблюдение с целью ликвидировать группу во время нелегальной сходимки.

В результате долгой и упорной пропаганды большевиками идей марксизма-ленинизма и в этой отсталой губернии прозвучало:

«Отречемся от старого мира!»

Озабоченный ростом революционного движения в крае, главный Департамент полиции 27 августа 1905 года писал вологодскому губернатору:

«Из имеющихся в Департаменте полиции сведений усматривается, что в Вологде за последнее время возникли тайные организации, распространяющие довольно часто и в значительном количестве воззвания преступного содер-

жания, изданные на гектографе от имени социал-демократов».

Манифест 17 октября 1905 года «разгрузил» вологодскую политическую ссылку, где к тому времени число ссыльных доходило до 3000; но после поражения революции там их опять набралось свыше 8000 человек. Теперь преобладали рабочие и крестьяне-аграрники разных национальностей и из разных мест. Немало было среди них и грузин. Один из них — Хизанишвили Иосиф Николаевич — скончался в вологодской земской больнице. Хоронили его в среду 19 апреля 1906 года. Похороны грузинского крестьянина послужили поводом для проявления большой политической зрелости вологжан и готовности их к активной борьбе за свержение самодержавия.

По призыву местных большевиков на похороны собралось много народу — рабочих, учащихся, интеллигентов. Издававшаяся в Вологде прогрессивная газета «Северная земля» на следующий день, 20 апреля, сообщила, что «к 12 часам дня во дворе земской больницы собралось до 3000 человек. Принесли много венков с надписями на красных лентах: «Крестьянину борцу», «Борцу за свободу», «Жертве произвола», «Слава павшему за свободу», «Борцу за светлое будущее».

«В три часа дня, — писала газета, — процессия двинулась к Введенскому кладбищу. Впереди тесною цепью в несколько рядов шла вооруженная боевая дружина, за ней процессия с венками. Гроб несли на руках товарищи по заключению, земляки-грузины».

В начале четвертого часа процессия подошла к Архангельской улице. Над головами идущих взвились красные флаги с надписями: «Смерть палачам!», «Да здравствует свобода!», «Долой самодержавие!». Раздались торжественные звуки шопеновского похоронного марша, и тысячи голосов слились в одном протестующем гимне: «Вы жертвою пали в борьбе роковой, любви беззаветной к народу».

На могиле начались речи.

«Первый оратор, — продолжает газета, — говорил о русской земле, залитой кровью ее истинных сынов, о жертвах произвола, о неопикуемых муках покойного товарища, виновного только в том, что он хотел свободы».

Потом речь ссыльного грузина. На далеком севере они не ждали найти братьев по духу, товарищей по борьбе. Они ошиблись. Теперь в их сердцах навсегда останется чувство признательности и благодарности к северянам. Теперь они знают, что сила борцов велика, и они с новой отвагой пойдут в бой за светлое будущее.

¹ Н. В. Лебедев. Вологодские большевики в борьбе за Советскую власть. Вологда, облздательство. 1957.

² Известный и весьма популярный грузинский поэт-революционер, периода первой русской революции Иродион Исаакович Хоситашвили (1873 — 1916), писавший под литературным псевдонимом Евдошвили.

³ Центральный государственный исторический архив. Москва, фонд № 102, опись № 241, ед. хр. 5 ч., 14 л. Б/1911.

Вышел другой грузин. Он говорил по-грузински. Его речь была непонятна для нас, но чувствовалось, что говорил он что-то сильное и красивое. Видно было, как его товарищи, понурые и угрюмые, вдруг высоко поднимали головы, глаза их блестели гневом».

Снова:

«Вы жертвою пали в борьбе роковой»...

Знамена срываются с древков и покрывают умершего.

«Один из присутствующих предлагает увековечить память умершего крестьянина-борца выражением братских чувств кавказским народам и негодующего протеста против ужасных насилий, творимых казаками и чиновниками на Кавказе: сделать денежный сбор в пользу семьи умершего товарища. Все согласны. Тут же на могиле собрано 78 рублей 71 коп., золотой браслет и кольцо... Так вологжане хоронили крестьянина-грузина»¹.

Через три дня та же газета опубликовала обращение ссыльных к вологодскому обществу, где они писали:

«Брошенные презренной рукой опричников в тюрьмы и ссылку, мы ехали сюда с невеселыми думами. Здесь ожидали встретить вражду и холодное равнодушие. Мы ошиблись. Вы встретили нас, как братья, отзывчиво и горячо. Такие встречи не скоро забываются...

Теперь, граждане, мы обращаемся к вам по поводу проводов в могилу нашего товарища Хизанишвили. Вас пришло несколько тысяч со знаменами свободы. Хроникер «Северной земли» пишет, что растянувшийся на полверсты кортеж представлял собою невиданное зрелище. Вы поняли нас, и мы вас поняли, наши мысли сошлись в одну общую мысль, и наши душевные чувства слились воедино. Граждане! Проводы, устроенные вами, неизгладимыми буквами записаны в наших сердцах.

Покойный Хизанишвили был очень беден, дома осталась большая семья, и все малолетки.

Вы пожертвовали на семью сосланного из дальнего края революционера... Одна из вас снимает с руки кольцо и браслет... Тронутые до глубины души поступком вологодской гражданки, мы с общего согласия решили отослать кольцо и браслет на дальний Кавказ семье покойного. По обычаю Кавказа семья будет хранить эти предметы как святыню. Грузины и грузинки, старые и молодые, придут и будут смотреть на них, они вспомнят товарища Хизанишвили, зарытого в далекой земле, все

они мысленно пошлют свой душевный привет прекрасной гражданке (имя не указано) вам г. г. вологжане»¹.

Жестоко поплатилась редакция газеты за опубликование этих статей: через одиннадцать дней, 1 мая 1906 года она была разгромлена черносотенцами.

* * *

Рассвело. Вышел в город. С большим любопытством осматриваю преобразованные Октябрем улицы и площади Вологды. Ни одной знакомой души в этом большом городе, с которым неразрывно связаны памятные страницы моей жизни.

Вхожу в кабинет полковника Степанова. С первых слов чувствую, что человек умеет внимательно и терпеливо выслушать посетителя, и это располагает к беседе.

— Товарищ полковник, при царизме я содержался здесь в каторжной тюрьме. Пишу воспоминания о царской политической каторге. Приехал из Грузии. Хочу порыться в архивах. Прошу вашего содействия. — На лице Степанова — выражение интереса, готовности во всем посодействовать мне.

В первую очередь я поехал к месту заключения. При виде серого трехэтажного здания — бывшей Вологодской каторжной тюрьмы в памяти снова прояснились поблекшие картины давно минувших дней — истязания политзаключенных, розги, темные карцеры, избияния, холод, голод... Неожиданно меня охватило, казалось бы, совершенно неуместное сейчас теплое чувство, о котором великий Руставели сказал:

Есть услада в беде прошлой,
Если беды отошли.

Через несколько дней собрался в обратный путь, увозя новые архивные материалы, которые будут использованы в следующей главе моей книги, и глубокую признательность к Евгению Петровичу Степанову, Геннадию Ивановичу Соколову и другим вологодским товарищам, которые помогали в сборе необходимых мне сведений.

Прежде чем отправиться на вокзал, решил поехать в Заречье² на Введенское кладбище, посетить могилу крестьянина-революционера Иосифа Хизанишвили, в столь торжественной революционной обстановке похороненного вологжанам в 1906 году; по возвращении в Грузию обязательно напомню о нем людям нашего времени и расскажу им, в каких условиях познавали друг друга в ту мрачную эпоху народы

¹ Газета «Северная земля», № 80, четверг, 20 апреля 1906 г.

¹ «Северная земля», № 82, воскресенье, 23 апреля 1906 г.

² Заречье — пригородная часть Вологды.

огромной многонациональной Российской империи и как они, озаренные лучами марксистско-ленинского учения, рука об руку шли вперед к победе Великого Октября.

* * *

В 1955 году Вологодское областное издательство выпустило коллективный труд научных работников архивных органов области об участии вологжан в революции 1905 — 1907 годов, в котором, между прочим, говорится и о многолюдной политической демонстрации, устроенной в связи с похоронами ссыльного Хизанишвили. Суммируя события дня, составители приходят к следующему выводу: «Значение демонстрации было огромно. В этот день вологжане выразили свое сочувствие политическим ссыльным, братские симпатии к угнетенным народам России, единство и сплоченность в борьбе против ненавистного самодержавно-полицейского режима. Недаром в обращении политических ссыльных к трудящимся Вологды по поводу демонстрации говорится: «Вы поняли нас, и мы вас поняли»¹.

Мне не было известно из какого района Грузии происходил Иосиф Хизанишвили. Желая установить его родное село и собрать о нем кое-какие сведения, по возвращении в Тбилиси, я связался со старыми революционерами, руководящими районными органами и редакциями районных газет, но напасть на след все не удавалось. И в архивах пока не были найдены эти данные. Опубликовал статьи в газетах. Никто не откликнулся. Чтобы иметь возможность безошибочно установить подлинность разыскиваемого лица, я намеренно не оглашал в прессе его отчества.

И вот вскоре после того, как 1 ноября 1962 года мое письмо по этому поводу, озаглавленное «Вы знали крестьянина Иосифа Хизанишвили?», было опубликовано в грузинской республи-

¹ Участие вологжан в первой русской революции, стр. 48.

канской газете «Комунисти» — вечером 13-го ноября — телефонный звонок.

— Мы хотим поговорить с вами по поводу Хизанишвили.

— О котором Хизанишвили?

— Иосифе Николаевиче, умершем в вологодской ссылке.

Встретились. Долго беседовали. Выяснилось, что Иосиф Николаевич родом из села Ховле, Горийского уезда, Тифлисской губернии. В бурные дни революции 1905 года он состоял в боевой дружине, которую возглавлял один из моих собеседников, персональный пенсионер Иван Виссарионович Бахтадзе. В начале 1906 года И. Н. Хизанишвили был арестован и препровожден в горийскую уездную тюрьму, откуда вместе с другими участниками революции его сослали на север. Дома у него остались жена Ермона и шестеро малолетних детей — четыре сына и две дочери, как об этом поведал мне второй собеседник — сын покойного Иосифа Николаевича, бывший рабочий, ныне пенсионер Захарий Хизанишвили. Сейчас живы лишь Захарий и его младший брат Василий, колхозник села Ховле, а также все 49 внуков и правнуков Иосифа Николаевича.

Деньги, кольцо и браслет из Вологды, пожертвованные на могиле И. Н. Хизанишвили в пользу его семьи, были получены из Вологды на имя влиятельной в тогдашнем тбилисском обществе княгини Кетеваны Георгиевны Джавахишвили¹, которая, по словам моих собеседников, сочувствовала революционному движению. Браслет был отдан в приданое старшей дочери Иосифа Николаевича — Нуше. Через И. В. Бахтадзе мне удалось разыскать этот уникальный браслет. Совсем недавно я передал его в Государственный музей Грузии имени академика С. Н. Джанашиа как реликвию революционной борьбы, как знак дружбы и солидарности народов России.

¹ К. Г. Джавахишвили в глубокой старости скончалась 5 июня 1963 г. в Тбилиси.

Георгий ЗАРДАЛИШВИЛИ

„Волга“ А. С. Размадзе

Просматривая как-то двенадцатый том сочинений А. П. Чехова, в котором помещены письма великого писателя за 1893—1904 годы, в указателе имен я обратил внимание на фамилию Размадзе. Она дважды упоминалась в письме от 24 сентября 1896 года, которое А. П. Чехов отправил городскому голове г. Таганрога — Павлу Федоровичу Иорданову; в этом же письме названо и его сочинение «Волга».

«Волгу» Размадзе мне не удалось обнаружить ни в одном книгохранилище Тбилиси, и потому пришлось выписать эту работу из Москвы, из публичной библиотеки имени Ленина.

* * *

Кто же такой Александр Соломонович Размадзе, при каких обстоятельствах он попал в Москву и что представляет собой его книга «Волга»?

Александр Размадзе родился в городе Пензе в 1845 году. Его отец Соломон Гивиевич Размадзе, видный грузинский деятель, принимал участие в заговоре 1832 года и в числе других был выслан из Грузии. Соломона на вечное поселение сослали в Пензу, где он женился на Елизавете Ивановой, от которой родился сын Александр. Соломон умер в Пензе, в 1862 году.

Тогдашняя Пенза была одним из значительных очагов русской культуры. В Пензе одно время учился и потом работал В. Г. Белинский; здесь в 1834—1838 годах был в ссылке поэт-декабрист Н. П. Огарев; в 1864—1866 годах в Пензе работал М. Е. Салтыков-Щедрин; в Пензенской гимназии в 1855—1863 годах развивал свою педа-

гогическую деятельность отец В. И. Ленина — Илья Николаевич Ульянов. Основателем Пензенской школы живописи был известный русский художник, уроженец Пензы, П. А. Савицкий.

Александр окончил пензенскую гимназию на золотую медаль и поступил на юридический факультет Московского университета. В 1867 году он едет в Германию и продолжает учебу в Лейпцигской консерватории. В 1870 году вернувшегося из Германии двадцатипятилетнего юношу приглашают в Московскую консерваторию профессором по истории музыки, а вскоре избирают членом ученого совета консерватории.

Перу Александра Размадзе принадлежит объемистый труд «Очерки по истории музыки», который получил высокую оценку. Он же перевел с французского произведения Мопассана и издал отдельными книгами в Москве и Киеве.

Но представление о жизни и творчестве Александра Размадзе будет односторонним, если не отметить, что его перу принадлежит также замечательная работа историко-географического характера «Волга», которая по содержанию и цельности была первой среди подобных географических работ, изданных в России в связи с Всероссийской выставкой в Нижнем Новгороде (ныне г. Горький).

«Волга» А. С. Размадзе издана С. В. Кульженко в Киеве в 1896 году на русском языке (формат 30×34 см., 162 стр.), обильно иллюстрирована, снабжена картой-путеводителем по Волге. Полное название книги — «Волга от Нижнего Новгорода до Астрахани».

Представление о содержании книги дает вступление, написанное С. В. Куль-

женко. По мнению издателя, это литературный этюд, главной задачей которого является общее знакомство читателя с Поволжьем, с достопримечательностями приволжских городов.

И действительно, в книге читатель найдет исторические сведения об обширных приволжских просторах, об отдельных городах, этнографические сведения, сказания и легенды местного населения, сведения о развитии промышленности и торговли Поволжья, описание ярмарки в Нижнем Новгороде и т. д.

Книга состоит из шести глав: I — Волга, II — Нижний Новгород, III — От Нижнего Новгорода до Казани, IV — Казань, V — От Казани до Царицына, VI — От Царицына до Астрахани.

В первой главе дана общая характеристика величайшей русской реки Волги, ее хозяйственного значения в русском судоходстве, кроме того, вспоминаются те бесчисленные легенды, сказания и песни, которые так широко распространены среди народов Поволжья.

Вторую главу автор специально посвятил древнейшему русскому городу Нижнему Новгороду. Это и понятно. Нижний Новгород в России был известен как центр больших ярмарок. Именно здесь должна была открыться ярмарка в 1896 году. Для того, чтобы приезжающие на ярмарку имели сравнительно правильное представление об этом древнейшем городе России, А. Размадзе дает почти исчерпывающее и разностороннее описание этого города.

В третьей главе рассматривается часть Поволжья от Нижнего Новгорода до Казани. Наряду с описанием исторических памятников даются очень интересные сведения о грузинских князьях в селе Лысково.

Труд А. Размадзе получил высокую оценку у общественности тех времен, но из-за малого тиража книга сделалась библиографической редкостью. Кроме того, она стоила очень дорого — 5 руб. 50 копеек.

В письме Павлу Федоровичу Иорданову А. П. Чехов, касаясь вопроса приобретения новых книг для библиотеки, писал: «Насчет «Волги» А. Размадзе издания дорогого (и мало интересного для тех, кто не бывал и не жил на Волге) скажу то же, что и о Мильтоне — «Покупать».

В другом письме, посланном в тот же день, А. П. Чехов уведомляет Иорданова: «Размадзе «Волга» не куплена». Очевидно из-за дороговизны.

А. Размадзе не успел побывать в Грузии и умер в Москве 14 марта 1896 года.

Человек большой эрудиции и разносторонних знаний, Александр Размадзе внес большой вклад в развитие русской музыки и географии.

Короткая, но содержательная жизнь А. Размадзе — яркий пример содружества русского, украинского и грузинского народов. Пенза, Москва, Киев, — вот города, где жил и творил А. С. Размадзе.

Подписано к печати 26 октября 1963 г. 6 печ. листов
Формат бумаги 70 × 108^{1/16}.

Заказ № 2522

Тираж 2200

УЭ 12201

Цена 40 коп.

Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются

ქართული „ლიტერატურული გრუპია“
(რუსულ ენაზე)

საქართველოს საბჭოთა მწერლების კავშირის გამომცემლობა „ლიტერატურა და ხელოვნება“

Типография издательства ЦК КП Грузии «Заря Востока» им. А. Ф. Мясникова,
Тбилиси, проспект Руставели, 42.

Отпечатано в типографии издательства ЦК КП Грузии
«Коммунисти» — ул. Ленина, 14.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ
«ТЕАТР» НА 1964 ГОД

В журнале будут напечатаны новые пьесы Алексея Арбузова, Николая Зарудного, Мирзы Ибрагимова, Александра Корнейчука, Виктора Лаврентьева, Андрея Макаенка, Эгона Раннета, Виктора Розова, Афанасия Салынского, Константина Симонова, Анатолия Софронова, Александра Штейна, Исидора Штока, а также первые пьесы молодых драматургов.

Со статьями о новых пьесах и спектаклях, монографиями о драматических и музыкальных театрах выступят известные деятели сцены, критики и драматурги. Будут напечатаны творческие портреты выдающихся мастеров сцены советского многонационального театра.

Свои мемуары пишут для журнала Николай Акимов и Михаил Жаров.

В новом году будут опубликованы очерки о Немировиче-Данченко, Хмелеве, Мейерхольде, Марджанишвили, Крушельницком, Сушкевиче, Зубове. В отделе балета появятся статьи о выдающихся советских балеринах Г. Улановой, М. Плисецкой, О. Лепешинской, Н. Дудинской.

Мастерам эстрады Л. Утесову, И. Набатову, А. Райкину, А. Белову, М. Гаркави, К. Шульженко, М. Кристалинской «Театр» посвятит специальные иллюстрированные очерки.

Специальными номерами будет отмечено 400-летие со дня рождения Вильяма Шекспира и 150-летие со дня рождения М. Ю. Лермонтова.

Журнал будет уделять большое внимание театрам социалистических стран и прогрессивным театрам других стран мира.

В 1964 году журнал проведет дискуссию о воспитании молодых актеров.

Подписка на 1964 год принимается в пунктах подписки Союзпечати, на почтамтах, в городских, районных узлах и отделениях связи, общественными распространителями печати на предприятиях, в учебных заведениях и учреждениях.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГОД 12 РУБЛЕЙ,
ЦЕНА ОДНОГО НОМЕРА 1 РУБЛЬ.